



Чак Паланик Уцелевший

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130981
Уцелевший : роман / Чак Паланик: АСТ; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-081954-6*

Аннотация

Единственный уцелевший из секты фанатиков-самоубийц.

Пророк. Суперзвезда. Новый мессия, захлебнувшийся собственной славой – и проклинаящий день, когда не умер.

Он ведет в никуда пустой Боинг-747 – и рассказывает «черному ящику» свою историю.

Свою настоящую историю. Жизнь – в обратном отсчете, от конца – к началу!

Об этом никогда не расскажет всемогущая пресса!

Содержание

47	5
46	9
45	13
44	16
43	23
42	29
41	33
40	35
39	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Чак Паланик

Уцелевший

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc и Andrew Nurnberg.;

© Chuck Palahniuk, 1999

© Перевод. Т. Ю. Покидаева, 2005

© ООО «Издательство АСТ», 2009

Майку Кифи и Майку Смиты.

Шону Гранту, и Хайди Уиден, и Мэтту Паланику.

Агент в этой книге списан не с Эдварда Хайбберта, который представляет меня со всем присущим ему юмором, мастерством и энергией.

В этой книге нет человека умнее, чем Джерри Ховард, мой редактор.

В целом свете нет человека более жесткого и непреклонного, чем Лоус Розеталь, которая очень мне помогла.

Эта книга не появилась бы без семинаров в студии писательского мастерства, что проходили у Съюзи по вторникам.

Ну что, кто сегодня читает?¹

¹ В оригинале эта фраза звучит так: «Who has pages, tonight?» С этой фразы обычно начинаются занятия в американских кружках и студиях молодых писателей и поэтов, и означает она: «Ну что? Кто написал что-нибудь новенькое? У кого есть чего показать? Кто нас сегодня порадует очередным «бессмертным» творением?» Кстати, большое спасибо Денису Уидмайеру, администратору официального сайта Чака Паланика www.chuckpalahniuk.net, и переводчику Ивану Тимофееву <http://palahniuk.da.ru/>, которые очень помогли мне в работе над переводом. – *Здесь и далее примеч. пер.*

47

Раз, раз. Раз, два, три.

Раз, раз. Раз, два, три.

Я не знаю, работает эта штукавина или нет. Слышите вы меня или нет. Я не знаю.

Но если вы слышите – слушайте. И если вы слушаете, это будет история о том, как все пошло наперекосяк. Здесь у меня бортовой регистратор рейса № 2039. Так называемый «черный ящик», хотя он оранжевый, а не черный, и там внутри – записывающее устройство, такая петелька из проволоки. Она ведет постоянную запись всего, что было. Это и будет история всего, что было.

Было и есть.

Можно ее раскалить добела, эту проволоку, и она все равно расскажет ту же самую историю.

Раз, раз. Раз, два, три.

Даю пробу.

И если вы слушаете, я хочу, чтобы вы знали с самого начала: пассажиры уже давно дома, целые и невредимые. Пассажиры благополучно высадились на Новых Гебридах. Это так называется – высадились. А потом мы с пилотом поднялись в воздух, только мы двое, и он выпрыгнул с парашютом. Где-то там, над водой. Над океаном. Это так называется – океан.

Я повторю это еще не раз, но это чистая правда. Я – не убийца.

Я здесь один, в небе.

Летучий Голландец.

Если вы слушаете, я хочу, чтобы вы знали: я здесь один, в кабине пассажирского самолета рейса № 2039, и у меня тут полно этих крошечных, детского размерчика, бутылков с выдохшейся водкой и джином, они стоят в ряд на этой штукаvine прямо передо мной, на приборной панели. Там, в салоне, маленькие подносики с недоеденными обедами – котлеты по-киевски или бефстроганов – так и остались стоять на каталке, но запах почти не чувствуется, потому что его разгоняет кондиционер. Журналы лежат на сиденьях, открытые на тех страницах, где их читали. Все кресла пусты, но можно притвориться, что все просто ушли в туалет. В динамиках головной гарнитуры играет тихая музыка.

Здесь наверху, где нет даже погоды, есть только я, заключенный во временную капсулу в виде Боинга 747–400, у меня тут две сотни надкушенных шоколадных пирожных и музыкальный бар на втором этаже, куда можно подняться по винтовой лесенке и смешать себе очередной коктейль.

Упаси Боже, я вовсе не собираюсь утомлять вас подробностями, но я лечу сейчас на автопилоте и буду лететь, пока не закончится топливо. До полного выгорания топлива, так назвал это пилот. Двигатели выгорают последовательно, сначала – первый, потом – второй и так далее, сказал он. Он просто хотел, чтобы я знал, чего ожидать. Потом он пустился в пространные объяснения, утомляя меня техническими подробностями: устройство реактивного двигателя, эффект Вентури, увеличение подъемной силы за счет изменения изгиба крыла с помощью выдвигаемых закрылок. Когда все двигатели прогорят, сказал он, самолет превратится в планер весом в 450 000 фунтов. А поскольку автопилот запрограммирован на поддержание прямого курса, самолет начнет падать. Контролируемое падение, как назвал это пилот.

Приятно, что хоть контролируемое, сказал я ему. Хотя бы какое-то разнообразие. Ты себе даже не представляешь, что мне пришлось пережить за последний год.

Под парашютом на нем была самая обыкновенная летная форма какого-то непонятного цвета, которая смотрится так, словно ее не художник придумал, а проектировал инженер.

Но несмотря ни на что, он мне очень помог. Он и вправду держался прекрасно – для человека, которому целятся в голову из пистолета и донимают вопросами типа сколько осталось топлива и сколько мы на нем протянем. Он рассказал мне, как поднять самолет обратно на крейсерскую высоту полета, когда он выпрыгнет с парашютом над океаном. И он рассказал мне про бортовой регистратор.

Четыре двигателя пронумерованы от одного до четырех, слева направо.

Последняя фаза контролируемого падения – это будет пике, «носом в землю». Он назвал это *заключительной фазой спуска*, когда ты несешься к земле со скоростью тридцать два фута в секунду. Он назвал это *конечной скоростью*, когда тела одинаковой массы движутся с одинаковой скоростью. Потом он снова пустился в пространственные объяснения насчет ньютоновской физики и Пизанской башни.

Он говорит:

– Только ты на меня не ссылайся. Я давно уже не проходил аттестацию.

Он говорит, что ВСУ, вспомогательная силовая установка, будет генерировать электричество до последнего – пока самолет не упадет.

Пока ты будешь хоть что-нибудь чувствовать, говорит пилот, у тебя будут кондиционеры и музыка.

Я говорю ему, что я уже очень давно ничего не чувствую. Примерно с год. Для меня сейчас самое главное, чтобы он поскорее выпрыгивал из самолета: чтобы я мог наконец отложить пистолет.

Я так долго сжимал эту штуку в руке, что уже даже ее не чувствую.

Когда планируешь захватить самолет, почему-то тебе не приходит в голову, что на каком-то этапе у тебя, вероятно, возникнет необходимость оставить заложников без присмотра на пару минут – чтобы сходить в туалет.

Прежде чем мы совершили посадку в Порт-Виле, я как оглашенный носился по самолету туда-сюда, размахивал пистолетом и пытался всех накормить: пассажиров и экипаж. Кто-нибудь хочет выпить? Никому не нужна подушка? Вы что будете, спрашивал я всех и каждого, курицу или мясо? Кофе – обычный или без кофеина?

Сервисное обслуживание – это единственное, что я умею и знаю. Причем умею и знаю действительно хорошо. Проблема в том, что мне пришлось разносить еду и обслуживать пассажиров одной рукой, поскольку в другой я держал пистолет.

Когда мы сели и пассажиры вместе с экипажем начали выходить из самолета, я стоял у переднего трапа и говорил им: *Прошу прощения. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Желаем вам безопасного и приятного путешествия и благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами нашей Бла-Бла-Бла-Авиакомпании.*

Когда в самолете остались лишь мы с пилотом, мы снова взлетели.

Уже перед самым прыжком пилот говорит мне, что, когда топливо окончательно выгорит во всех двигателях, включится аварийный сигнал системы оповещения, что в двигателе номер один, или номер три, или в каком-то там номере, прогорело все топливо. Когда все двигатели отключатся, единственный способ удерживать самолет в воздухе – вести его с поднятой носовой частью. Для этого нужно взять штурвал на себя. Ручка управления самолетом, как он это назвал. Чтобы сдвинуть руль высоты – как он это назвал, – расположенный в хвосте самолета. При этом ты потеряешь скорость, но сохранишь высоту. У тебя будет выбор: скорость или высота, – но ты в любом случае упадешь. Носом в землю.

Ладно, хватит уже, говорю я ему, я же не собираюсь сдавать экзамены на получение летной лицензии или как это у вас называется. Я просто очень хотел в туалет. Я хотел побыстрее остаться один.

Мы снижаем скорость до 175 узлов. Не хочу утомлять вас подробностями, но мы спускаемся до 10 000 футов и открываем люк в переднем салоне. Как только пилот выпрыгивает,

я встаю в растворе двери, на самом краю, быстро расстегиваю штаны и с облегчением отливаю – ему вдогонку.

Никогда в жизни мне не было так хорошо.

Если сэр Исаак Ньютон был прав, пилоту это ничем не грозит.

Так что сейчас я лечу на запад, на автопилоте, со скоростью 0.83 маха или 455 миль в час – это называется стабильная скорость полета, – и на такой скорости и высоте солнце как будто зависло на одном месте и вообще не движется по небосклону. Время остановилось. Я лечу над облаками на крейсерской высоте 39 000 футов над Тихим океаном, лечу к катастрофе, к Австралии, к концу моей жизни, к завершению моей истории, прямым курсом на юго-запад, пока не выгорят все четыре двигателя.

Раз, раз. Раз, два, три.

Еще раз: вы слушаете запись на бортовом регистраторе рейса № 2039.

И на такой высоте – нет, вы слушайте, – и такой скорости, при том, что самолет пустой, топлива хватит часов на шесть или, может быть, даже на семь. Так сказал пилот.

Так что я постараюсь рассказывать побыстрее.

Бортовой регистратор запишет каждое мое слово, произнесенное здесь, в кабине. И моя история не разлетится на миллионы кровавых брызг и не сгорит вместе с разбившимся самолетом, что превратится в груды пылающего металла весом в тысячу тонн. Моя история уцелеет.

Раз, раз. Раз, два, три.

Перед самым прыжком, когда мы уже отодвинули крышку люка и за нами следили военные корабли, держа нас в луче невидимого радара, стоя в открытом проеме, под оглушительный рев двигателей и свист ветра, пилот прокричал мне:

– Зачем тебе это?! Такая смерть?!

И я крикнул в ответ: непременно послушай запись.

– Тогда не трати время, – крикнул пилот, – у тебя всего несколько часов. И главное, постоянно держи в голове, что ты никогда точно не знаешь, когда именно кончится топливо. Если ты собираешься рассказать историю своей жизни, то вполне может так получиться, что ты умрешь где-нибудь на середине.

И я крикнул: это я знаю и без тебя.

И еще: скажи мне что-нибудь, чего я не знаю.

И пилот прыгнул. Я отлил и задвинул люк. Вернувшись в кабину, я толкнул дроссель вперед и потянул ручку управления на себя. Самолет набрал высоту. Осталось только включить автопилот, что я и сделал. Вот что мы имеем на данный момент.

Если вы слушаете эту запись на «черном ящике» рейса № 2039, запись, уничтожить которую практически невозможно, вы можете съездить туда, где самолет завершил заключительную фазу спуска, и посмотреть на то, что от него осталось. Увидев воронку с обугленными обломками, вы сразу поймете, что я никакой не пилот. Если вы слушаете эту запись, значит, меня уже нет в живых.

У меня остаются считанные часы, чтобы рассказать вам свою историю.

Так что можно надеяться, что я расскажу ее так, как надо.

Раз, раз. Раз, два, три.

Лучистое синее небо – во всех направлениях. Горящее, великолепное солнце – прямо передо мной. Мы летим над облаками, и этот сияющий и замечательный день будет сияющим и замечательным навсегда.

Так что давайте начнем. Давайте начнем сначала.

Рейс № 2039. Вот как все было на самом деле. Кстати, выпьем по рюмочке.

И.

Просто для сведения: я себя чувствую потрясающе.

И.

Я уже потерял десять минут.

И.

Поехали.

46

При моем образе жизни мне достаточно сложно обвалить в сухарях телячью отбивную. Иногда вместо телячьей отбивной бывает курица или рыба. Но как только я беру в руку мясо, а другая рука у меня вся испачкана взбитым яйцом, обязательно кто-то звонит. Кто-то в тоске и печали.

Теперь такое бывает почти каждый вечер.

Сегодня звонит какая-то девица, причем, надо думать, звонит из какой-нибудь дискотеки, где вовсю гроыхает музыка. Я могу разобрать только два слова: «все кончено».

Она говорит: «Мерзавец».

Она говорит что-то похожее на «козел» или «бросил». И самое главное, я ничего не могу понять, не могу сам заполнить пробелы, и я один у себя на кухне, и мне приходится кричать, чтобы меня услышали там, где грохочет музыка. У нее молодой и усталый голос, так что я спрашиваю, доверяет она мне или нет. Ей надоело терпеть обиды? Надоело, что ей постоянно делают больно? Я говорю: если бы она знала единственный верный способ разом покончить со всей этой болью, она бы решилась пойти до конца?

Моя рыбка беспокойно мечется в аквариуме на холодильнике, так что я подхожу и бросаю ей в воду таблетку валиума.

Я кричу этой девушке: ей еще не надоела такая жизнь?

Я кричу: я вообще-то не собираюсь стоять тут весь вечер и выслушивать ее жалобы.

Стоять здесь, выслушивать ее жалобы и пытаться помочь ей устроить жизнь – бесполезная трата времени. Никто не хочет устраивать жизнь. Никто не хочет решать проблемы. Их проблемы. Их драмы. Их беды. Никто не хочет ничего улаживать. Убираться в своем бардаке. Потому что иначе – что им останется? Большая пугающая неизвестность.

Большинство этих людей, которые мне звонят, – они уже знают, чего хотят. Одни хотят умереть, но им для этого нужно мое разрешение. Другие хотят умереть, и им нужно только, чтобы их поддержали в этом начинании. Чтобы их слегка подтолкнули. У человека, склонного к самоубийству, как правило, чувство юмора напрочь отсутствует. Одно неверное слово – и на следующей неделе в газете печатают их некролог. Большинство этих людей, которые мне звонят, – я их почти и не слушаю. Я решаю, кому из них жить, а кому умереть, просто по голосу и интонации.

С девицей из дискотеки ничего путного явно не выйдет, так что я говорю ей: убей себя.

Она говорит:

– Что?

Убей себя.

Она говорит:

– Что?

Барбитураты. Запей чем-нибудь алкогольным. На голову, для верности, – пластиковый пакет.

Она говорит:

– Что?

Чтобы нормально обвалить в сухарях телячью отбивную, нужны две руки, так что я говорю ей: сейчас или никогда. Хочешь – жми на курок, хочешь – нет. Я тут, с ней. Она не умрет в одиночестве, но у меня мало времени. Я не могу с ней болтать всю ночь.

Она вдруг начинает рыдать, и эти рыдания как будто смикшированы с дискотечной музыкой. Так что я вешаю трубку.

Именно в тот момент, когда я пытаюсь обвалить в сухарях телячью отбивную, кто-нибудь обязательно позвонит, чтобы я выправил их кривые жизни.

В одной руке я держу телефонную трубку, другой – пытаюсь обвалить мясо. Сложней ничего не придумаешь. Надо макнуть отбивную в сырое яйцо. Потом легонько ее потрясти, чтобы стекло все лишнее. Потом опустить в сухари. Проблема в том, что одной рукой я не могу обвалить ее так, как нужно. Молотые сухари налипают неравномерно, и кое-где остаются проплешины чистого мяса. А в других местах слой сухарей такой толстый, что вообще непонятно – что там под ним.

Сперва это было забавно. Тебе звонят люди на грани самоубийства. Звонят женщины. И вот я, один в своей грязной кухне, с одной только рыбкой в аквариуме для компании, полуголый, в одних трусах, обваливаю в сухарях свиную отбивную, или телячью, или что там еще, и выслушиваю чью-то мольбу. Крик о помощи. Раздаю наставления и наказания.

Звонит парень. Я уже сплю, третий сон вижу. Если не выключить телефон, он будет трезвонить всю ночь. Сегодня звонит очередной неудачник, уже после того, как закрылись все бары, и говорит, что сидит на полу у себя дома. Ему каждую ночь снятся кошмары, и поэтому он не может спать. Ему снится, как падают пассажирские самолеты. Как гибнут люди. Так живо – как наяву. И никто ему не поможет. Он не может спать. Никто не может ему помочь. Он говорит, что держит под подбородком заряженную винтовку, и просит меня назвать хотя бы одну убедительную причину не нажимать на курок.

Когда знаешь будущее и не можешь никого спасти – так жить невозможно.

Эти жертвы – они звонят мне. Эти хронические страдальцы. Они звонят. Они не дают мне скучать. Это лучше, чем телевизор.

Я говорю ему: ну, давай. Я только наполовину проснулся. Сейчас три часа ночи, а завтра мне на работу. Я говорю ему: не тяни. Давай быстрее, пока я не заснул. Жми на курок.

Я говорю ему, этот мир не настолько хорош, чтобы здесь оставаться и страдать дальше. Это вообще никакой не мир, по большому-то счету.

Я – домработница, только мужского рода. Занимаюсь уборкой чужих домов. Скромный трудяга на полную ставку. И по совместительству – бог.

По опыту прошлых разов я уже знаю, что надо убрать трубку подальше от уха, когда слышишь слабый щелчок спускового крючка. Трескучий грохот, как будто помехи на линии. Где-то там трубка упала на пол. Я – последний, с кем он разговаривал в жизни, и я засыпаю еще до того, как затихает звон у меня в ушах.

Надо будет на следующей неделе просмотреть некрологи в газете, колонка в шесть дюймов о вещах, которые, по большому-то счету, уже не имеют значения. Но некролог все равно нужен, иначе как разобраться – было это на самом деле или тебе все приснилось.

Я не надеюсь, что вы поймете.

Это совершенно особое развлечение. И это действительно очень приятно, когда ты распоряжаешься чьей-то жизнью. Того парня с винтовкой звали Тревор Холлис, так было написано в некрологе, и это и вправду непередаваемое ощущение – когда ты узнаешь, что это случилось на самом деле. Может быть, это убийство. Может быть, нет. Тут решать только тебе самому: какую роль ты себе отведешь, так и будет. Тем более что эту забаву с телефоном доверия придумал не я.

Все дело в том, что это и вправду кошмарный мир, и я лишь прекратил страдания того парня.

Все получилось случайно, когда в какой-то газете напечатали объявление об открытии настоящей службы психологической помощи в кризисных ситуациях. И там по ошибке был мой телефон. Это была опечатка. Никто не обратил внимания на поправку, которую дали на следующий день, и люди начали мне звонить со своими проблемами – днем и ночью.

Только не думайте, что я спасал чьи-то жизни. Быть или не быть – я не мучился никакими решениями. И с женщинами я тоже не церемонился. С ранимыми женщинами. Эмоциональными калеками.

Однажды я чуть было не устроился на работу в «Макдоналдс», и я пошел туда только затем, чтобы знакомиться с девушками. Совсем молоденькими девчонками. Черными, белыми, латиносками, китаянками. В объявлении о приеме на работу было специально подчеркнуто, что в «Макдоналдсе» работают представители разных рас и этнических групп. То есть девушки, девушки, девушки – сплошные девушки за буфетной стойкой. Еще в объявлении было сказано, что тебя не возьмут на работу, если у тебя будут выявлены следующие заболевания:

Гепатит А
Сальмонеллез
Шигеллиоз (бактериальная дизентерия)
Стафилококковая инфекция
Лямблиоз
Кампилобациллярный энтерит

А если познакомишься с девушками на улице, то что-то из этого списка тебе обеспечено. Как ни осторожничай, обязательно что-то подцепишь. А в «Макдоналдсе» девушки чистые. Понравится тебе девушка – ты хоть знаешь, что у нее справка есть. Плюс к тому есть хорошие шансы, что она будет молоденькой. Совсем еще юной, смешливой и глупой. Такой же глупой, как я.

Восемнадцатилетние, девятнадцатилетние, двадцатилетние девушки. Мне от них ничего не нужно – только поговорить. Студентки колледжей. Старшеклассницы. Эмансипированные малолетки.

То же самое и с этими девчонками, что звонят мне на грани самоубийства. В большинстве своем – очень молоденькие. Они звонят из автоматов и плачут в трубку, и их волосы мокрые от дождя. Они звонят, чтобы я им помог. Лежа в постели, свернувшись калачиком. Они звонят мне. Своему мессии. Они звонят мне. Своему спасителю. Они шмыгают носом, и давятся слезами, и рассказывают мне обо всем, о чем я прошу рассказать, до мельчайших подробностей.

Иногда это так здорово – слушать их в темноте. Девушка мне доверяет. Держа телефонную трубку в одной руке, я представляю, что другая моя рука – это она.

И я совсем не хочу жениться. Я восхищаюсь смелостью тех парней, которые делают татуировку.

Когда в объявлении в газете исправили номер, звонки стали реже. А те, кто звонил мне раньше, они либо мертвы, либо я их так довел, что они больше в жизни мне не позвонят. А новые люди уже не звонят. В «Макдоналдс» меня все равно бы не взяли, так что я изготовил целую пачку объявлений.

Объявления должны быть броскими и хорошо читаться. Они должны выделяться, чтобы их было легко прочесть ночью, или сквозь слезы, или в пьяном или уторчанном состоянии. Я взял обычные белые наклейки и написал крупными черными буквами:

Дай себе, своей жизни, еще один шанс. Нужна помощь – звони. И мой номер.
Был еще такой вариант:

Ты молодая и сексуально распушенная? У тебя склонность к алкоголизму? Тебе нужна помощь? Звони – мы поможем. И мой телефон.

Но поверьте мне на слово. Никогда не пишите таких объявлений, как во втором варианте. Иначе вами заинтересуются в полиции. И заявятся к вам домой. Они узнают ваш адрес и имя по телефонному номеру, у них есть базы данных, и вы окажетесь в списке неблагонадежных лиц. Как потенциальный преступник. Вам подключат подслушивающее устройство, и потом каждый раз, когда вы будете разговаривать по домашнему телефону, в трубке будет тихонечко щелкать: тык... тык... тык...

Поверьте мне на слово.

Если же вы напишете объявление, как в первом варианте, люди станут звонить вам и каяться во всех смертных грехах, жаловаться на жизнь, просить совета и искать одобрения.

Девушки, с которыми ты знакомишься, живут такой жизнью, которая больше похожа на никудышный сценарий. Целый гарем женщин на грани срыва. Они хватаются за телефонные трубки и просят: перезвони мне, пожалуйста, перезвони. Пожалуйста.

Называйте меня сексуальным хищником, но при слове «хищник» мне представляются львы и тигры, большие кошки, акулы. Это совсем не похоже на отношения хищника и его жертвы. Совсем не похоже на отношения стервятника, грифа или гиены с куском падали. На отношения «хозяина» и паразита.

Нам все равно плохо, всем вместе.

Это – прямая противоположность преступлению без установленного потерпевшего.

Самое главное – это расклеить свои объявления в телефонах-автоматах. В грязных телефонных будках возле мостов над глубокими водами. Рядом с барами, где неприкаянные одинокие люди – люди, которым некуда пойти, – сидят до самого закрытия, пока их не вышвырнут.

И дня не пройдет, как начнутся звонки.

Надо только обзавестись телефоном с громкой связью – из тех, которые создают у собеседника впечатление, что ты говоришь откуда-то издалека. Люди будут звонить тебе со своими проблемами. Они позвонят и услышат, как ты спускаешь воду в унитазе. Они услышат рев миксера и поймут, что тебе на них наплевать.

Я быстро понял, что без гарнитуры тут не обойтись. Беспроводной головной телефон. Плеер страданий и горестей человеческих. Жить или умереть. Секс или смерть. Теперь, когда люди звонят тебе, чтобы признаться в своем самом чудовищном преступлении, ты решаешь, кому из них жить, а кому умереть, и при этом руки остаются свободны. Ты определяешь меру наказания. Выносишь свой приговор. Даешь отчаявшимся парням телефоны таких же отчаявшихся девчонок.

Как и в молитвах, здесь тоже – сплошные жалобы и просьбы. Даже не просьбы, а требования. Помогите мне. Услышь меня. Наставь меня на путь истинный. Прости меня.

Вот пожалуйста. Снова звонит телефон. Я уже отчаялся обвалить отбивную в сухарях как должно, а в трубке рыдает очередная девица. Я говорю ей: ты мне доверяешь? Я говорю: ты расскажешь мне все как есть?

Я тут один, со своей рыбкой. Мы оба плаваем в одном пространстве.

Отбивная у меня в руке смотрится так, как будто ее извлекли из кошачьего туалета.

Чтобы успокоить рыдающую девицу, чтобы заставить ее меня выслушать, я ей рассказываю про свою рыбку. Это золотая рыбка, и она у меня не первая. Она шестьсот сорок первая. Они очень недолго живут, золотые рыбки. Первую рыбку мне купили родители, чтобы я научился любить и заботиться о живых тварях Божьих. И вот все, что я знаю шестьсот сорок рыбок спустя: все, что ты любишь, умрет. И когда ты встречаешь кого-то особенного, можешь не сомневаться: однажды его не станет. Он умрет и обратится в прах.

45

Назавтра мне предстояло покинуть дом, и вечером накануне отъезда мой старший брат рассказал мне о внешнем мире. Все, что он знал.

Во внешнем мире, рассказывал он, женщины могут менять цвет волос. Глаз и губ.

Мы сидели на заднем крыльце, где не было света, кроме света из окна кухни. Мой брат, Адам, стриг мне волосы точно так же, как он обычно срезал колосья: собирал в руку пучок волос и резал их бритвой примерно на середине. Он держал меня за подбородок, заставляя смотреть прямо на него; его карие глаза так и бегали вправо-влево между двумя моими бакенбардами.

Чтобы подровнять мне бакенбарды, он сначала подрезал одну, потом – вторую, потом снова – первую, потом снова – вторую, и так продолжалось до тех пор, пока от них вообще ничего не осталось.

Семеро моих младших братьев сидели по краю крыльца и настороженно вглядывались в темноту, словно боялись увидеть там все грехи и пороки, которые живописал Адам.

Во внешнем мире, рассказывал он, люди держат птиц дома. Он это видел своими глазами.

Адам всего раз выезжал за пределы общинных земель нашей церкви, когда им с женой нужно было зарегистрировать брак. Без такой регистрации официальные власти не признали бы его законным.

Во внешнем мире, рассказывал он, домой к людям приходят духи, которые там называются телевидением.

Духи разговаривают с людьми через радио, как это у них называется.

Люди используют телефон, как это у них называется, потому что не любят быть рядом, слишком близко друг к другу, но боятся остаться одни.

Он стриг мне волосы, но вовсе не для красоты. Он стриг мне волосы точно так же, как он обычно подрезал деревья. Волосы осыпались на дощатое крыльцо и ложились вокруг, словно собранный урожай.

В нашей церковной общине мы собирали состриженные волосы в мешки и подвешивали их в саду, чтобы отпугивать оленей. Адам сказал мне, что это правило, чтобы ничто не пропадало впустую, во внешнем мире не действует. Когда ты покидаешь общину, ты лишешься многих благ, что ниспосланы человеку Богом. И самое трудное, что тебя ждет, – это лишиться блага тишины.

Во внешнем мире, рассказывал он, нет подлинной тишины. Не искусственной тишины, когда ты затыкаешь уши и не слышишь вообще ничего, кроме ударов собственного сердца, а настоящей тишины снаружи.

Через несколько дней после свадьбы Адам с Бидди Глисон сели на автобус и выехали за пределы церковной общины в сопровождении одного из старейшин. Всю дорогу в автобусе было шумно. Снаружи ревели автомобили. Люди во внешнем мире только и делают, что болтают друг с другом, причем болтают какие-то глупости, а когда умолкают, то заполняют паузы, включая радиоприемники, где одинаковые голоса снова и снова поют одни и те же песни.

Адам сказал, что темнота – это еще одно благо, которого ты лишешься во внешнем мире. Можно, конечно, закрыть глаза и запереться в шкафу, но это будет совсем не то. В нашей церковной общине темнота по ночам – абсолютная. Звезды в такой темноте светят ярче. А на Луне различимы пейзажи: горные цепи, изломы рек, гладь морей.

А когда нет ни звезд, ни Луны, то не видно вообще ни зги, но зато можно вообразить что угодно.

По крайней мере я так запомнил.

Мать была в кухне, гладила и складывала одежду, которую мне разрешили забрать с собой. Где был отец, я не знаю. С тех пор я их больше не видел.

И вот что забавно: меня всегда спрашивают, плакала мать или нет. Всем интересно, плакал ли мой отец и обнял ли меня на прощание. И все всегда удивляются, когда я отвечаю: нет. Никто не плакал, никто меня не обнимал.

Точно так же, как никто не плакал и не обнимался, когда мы продавали свиней. Никто не плакал и не обнимался, когда резали кур или собирали яблоки.

Никто не мучался по ночам бессонницей, изводя себя вопросом, хорошо ли колосьям и счастливы ли они, что из них испекли хлеб.

Мой брат просто стриг мне волосы. Моя мать просто гладила мои вещи, а потом села шить. Она была беременна. Я ее помню всегда беременной и помню, как мои сестры сидели с ней рядом, на кухонных скамьях или прямо на полу, и тоже шили.

Меня всегда спрашивают, что я чувствовал: страх, волнение или что?

Согласно нашей церковной доктрине, только первенец, старший сын, Адам, может жениться и прожить всю жизнь в общине. Все остальные, то есть я и еще семеро братьев и пять сестер, должны покинуть общину по достижении семнадцати лет и устроиться на работу во внешнем мире. Мой отец жил в общине, потому что он был первенцем у себя в семье. Моя мать жила там, потому что совет старейшин выбрал ее в жены моему отцу.

Люди даже и не пытаются скрыть своего разочарования, когда я отвечаю им правду: что нас никто не притеснял и мы не чувствовали себя ущемленными. Никто из нас не возмущался порядками церкви. Мы просто жили. И не терзались какими-то уязвленными чувствами. Во всяком случае, так чтобы сильно.

Такова была вся глубина нашей веры. Можно назвать ее мелкой и ограниченной, а можно – глубокой. Нас ничто не пугало. Потому что нас так воспитали с детства. Все, что случается в мире, – на все воля Божья. Наше дело – работать. Трудиться в поте лица. А всякие слезы и всякая радость лишь отвлекают тебя от трудов. Церковь тебя взрастила, и теперь ты должен приносить пользу церкви. Всякое чувство – оно от лукавого. Предвкушения и сожаления – глупое излишество. Роскошь.

Вот определение нашей веры. Ничего нельзя знать. Зато ожидать можно чего угодно.

Во внешнем мире, рассказывал Адам, люди продали душу дьяволу, который приводит в движение их автомобили и переносит самолеты по небу. Зло в образе электричества течет по проводам, чтобы люди впадали в леность. Там есть такие буфеты, куда убирают грязную посуду, и эти буфеты моют ее сами. Вода уносит по трубам дерьмо и мусор, так что уборка твоих отходов – это уже не твоя проблема. Адам берет меня за подбородок, придвигается ближе, и смотрит мне прямо в глаза, и говорит, что во внешнем мире люди смотрятся в зеркала.

Он говорит, что в автобусе у всех были с собой зеркала, и все в них смотрелись, озабоченные своим внешним видом. А ему было стыдно на это смотреть.

Я помню, что после той стрижки я потом очень долго не стригся, но не помню почему. Моя голова тогда напоминала колючее поле соломы, на котором почти ничего не осталось.

Во внешнем мире, рассказывал Адам, все вычисления проводят машины.

А всю еду подают официантки.

В тот единственный раз, когда брат с женой выезжали за пределы общины в сопровождении старейшины, они заночевали в гостинице, в центре Робинсвилля, штат Небраска. Всю ночь они не смыкали глаз. А наутро автобус отвез их домой – уже навсегда, до конца жизни.

Гостиница, рассказывал Адам, это такой большой дом, где живет много людей; они там едят и спят, но никто друг друга не знает. Он сказал, что большинство семей во внешнем мире именно так и живут.

Церкви во внешнем мире, рассказывал брат, это не настоящие церкви, а торговые лавки, где продают людям ложь, изготовленную на далеких заводах и фабриках по производству гигантских религий.

Он еще много чего рассказывал, я всего просто не помню.

После той стрижки прошло без малого шестнадцать лет.

Когда отцу было столько же лет, сколько мне теперь, он уже был отцом четырнадцати детей.

Мне было семнадцать, когда я покинул дом.

Сейчас я выгляжу так же, как выглядел мой отец, когда я его видел в последний раз.

Смотреть на Адама – все равно что смотреться в зеркало. Он был старше меня всего на три минуты и тридцать секунд, но в Церкви Истинной Веры близнецов не бывает.

В ту последнюю ночь в общине, когда я видел Адама Бренсона, как мне казалось, в последний раз, я думал, что мой старший брат – человек очень добрый и очень мудрый.

Вот каким я был глупым.

44

В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и просмотр меню званого ужина, куда хозяева приглашены сегодня. Это значит, что мне надо сесть на автобус от дома, где я работаю, доехать до другого большого дома и расспросить тамошнего повара, какого-нибудь чудака со странностями, что он будет готовить сегодня вечером. Те, на кого я работаю, не любят сюрпризов, так что в мои обязанности по работе, помимо прочего, входит просмотр меню званых обедов и ужинов, чтобы я мог заранее им сообщить, не намечается ли на обеде какое-то сложное блюдо типа омара или артишоков. Если что-то подобное намечается, я должен их научить, как это правильно едят.

Вот чем я зарабатываю на жизнь.

Хозяева дома, где я убираюсь, мужчина и женщина, – их никогда не бывает дома. Они всегда на работе. Все, что я про них знаю, я узнаю только по их вещам, которые привожу в порядок. По тому беспорядку в доме, где я убираюсь. Каждый день, день за днем. Разгребаю их маленькие завалы. Перематываю их видеокассеты:

«Все услуги анального секса».

Огромные сиськи убойной секс-бомбы Леты Уипенс. Грешки маленькой Золушки².

Когда я прихожу в дом, где работаю, моих хозяев уже нет дома – они на работе, работают где-то в центре. Когда они приезжают домой с работы, меня там уже нет – я возвращаюсь к себе, в свою маленькую квартирку. То есть квартира, конечно же, не моя. Я ее снимаю. Вообще-то раньше там был отель, и моя маленькая квартирка – это бывший гостиничный номер, где поставили плитку и холодильник, чтобы поднять арендную плату. Ванная и туалет по-прежнему – в коридоре.

С хозяевами я общаюсь исключительно по телефону. Телефон у них с громкой связью. Такая пластмассовая коробка: стоит в кухне на стойке и орет на меня, что мне делать еще.

Иезекииль, глава девятнадцатая, стих седьмой:

«И осквернял вдов их и города их опустошал...» и как-то там дальше. Невозможно держать в голове всю Библию. А то не останется места, чтобы собственное имя запомнить.

Дом, где я убираюсь последние шесть лет, как раз такой, каким и должен быть дом: большой, в фешенебельной части города. Сравните с квартиркой, где я живу. Она точно такая же, как и все в моем доме; и сиденье на унитазе всегда теплое. Кто-то сидел там за пару секунд до тебя, и как только ты встанешь, через пару секунд там усядется кто-то еще.

В той части города, куда я каждое утро езжу на работу, в домах на стенах висят картины. Входишь в дом – и там комнаты, комнаты, множество комнат, куда никто никогда не заходит. Кухни, в которых никто не готовит. Ванные, которые никогда не бывают грязными. Деньги, которые оставляют хозяева, чтобы проверить меня – возьму или нет, – всегда не меньше пятидесяти долларов одной бумажкой, как будто случайно завалившейся за комод. Одежда, которую они носят, всегда смотрится так, словно ее не художник придумал, а проектировал архитектор.

Рядом с телефоном на кухонной стойке – толстый ежедневник, куда хозяева записывают мне поручения на неделю: расписывают буквально по часам. Поручение за поручением. На десять лет вперед. При таком отношении вся твоя жизнь превращается в список по

² У Паланика было Sinderella – замечательная игра слов по английски: та же Золушка – Cinderella, – только от слова sin – грех. Переводчик как мог извернулся, но решил все-таки дать примечание, чтобы читатели смогли оценить каламбур на языке оригинала. А псевдоним порнодивы Леты Уипенс – Letha Weapons – явно наводит на мысли о lethal weapons – смертельном оружии.

пунктам. Сделать то-то и то-то. И со временем ты замечаешь, как твоя жизнь выравнивается и сглаживается.

Кратчайшее расстояние между двумя точками – временная прямая, расписание, карта твоего времени, план маршрута на всю оставшуюся жизнь.

Список – кратчайший путь. Прямая дорога отсюда до смерти.

– Я хочу заглянуть в ежедневник, – кричит на меня телефон, – и точно знать, где тебя можно найти ровно в четыре часа пополудни в этот же день, только через пять лет. Я к тому, что ты должен быть очень точным. Чтобы я всегда знал, где тебя найти. Даже через пять лет.

Когда вся твоя жизнь расписана по пунктам, почему-то она никогда не оправдывает ожиданий. Столько всего надо сделать, а ты сделал так мало. Краткая аннотация твоего будущего.

Два часа пополудни, суббота, и согласно сегодняшнему расписанию я сейчас должен сварить пять омаров, чтобы хозяева поупражнялись, как их правильно есть. Вот у них сколько денег.

А я позволяю себе есть телятину только тогда, когда удастся стащить кусок у хозяев.

Варить омаров совсем не сложно. Никакого секрета тут нет. Наливаешь в кастрюлю холодную воду и добавляешь щепотку соли. Можно налить в воду вермут или водку в пропорции один к одному. Можно добавить немного морских водорослей – для аромата. Это – основы, которым нас учат на домоводстве.

Всему остальному я научился сам, убираясь в чужих домах за чужими людьми.

Спросите меня, как удалить пятна крови с меховой шубы.

Нет, правда спросите.

Давайте.

Надо посыпать мех кукурузной мукой и расчесать против шерсти. И самое главное – не сболтнуть чего лишнего.

Чтобы очистить от крови клавиши пианино, протрите их тальком или сухим молоком.

Вряд ли вам пригодится на каждый день, но если вдруг будет нужно смыть кровь с обоев – хорошо помогает каша из кукурузного крахмала, разведенного в холодной воде. Точно так же можно очистить от крови матрас или обивку дивана. Главное, не задумываться о том, как быстро все это случается. Самоубийства. Несчастные случаи. Преступления по страсти. В состоянии аффекта. Главное – тут же об этом забыть.

Сосредоточься на пятнах. Чисти, пока не отчистишь – и пятна, и память. Мастерство и вправду приходит с практикой. Если можно назвать это мастерством.

Старайся не думать, как это обидно, когда твой единственный настоящий талант – скрывать правду. Умение, данное Богом: совершать тяжкий грех. Твое призвание. Врожденный дар к отрицанию и отречению. Божье благословение.

Если можно назвать это благословением.

Шестнадцать лет я убираюсь в чужих домах, но мне все еще хочется думать, что мир становится лучше. Хотя я знаю, что нет. Мне все еще хочется, чтобы люди вокруг стали лучше, хотя я знаю, что этого никогда не будет. И мне по-прежнему хочется думать, что я могу что-нибудь сделать, чтобы люди и мир все-таки стали лучше.

Каждый день я убираюсь в одном и том же доме, но если что и становится лучше, то только мое мастерство отрицать все, что неправильно.

Не дай Бог мне когда-нибудь встретиться с теми, на кого я работаю.

Вы, пожалуйста, только не думайте, что мне не нравятся мои хозяева. Из тех вариантов работы, что мне находила психолог из социальной службы, это еще далеко не худший. Я их не ненавижу, своих хозяев. Да, я их не люблю, но и не ненавижу. Я работал на людей и похуже.

Спросите меня, как удалить пятна мочи со штор и со скатерти.

Спросите меня, как по-быстрому залепить дырки от пуль в стене в гостиной. Ответ: зубной пастой. Если стреляли из крупнокалиберного оружия, пасту надо смешать в равных пропорциях с крахмалом и солью.

Называйте меня – голос опыта.

Пять омаров – я думаю, хватит, чтобы они научились мудреным приемам, как расколоть панцирь на спинке. Называется щиток. Внутри – мозги или сердце, за которыми вы вроде как и стремитесь. Варят омаров так: кладут в холодную воду и постепенно доводят до кипения. Главное – не торопиться. Вода должна нагреваться медленно: до ста градусов – как минимум в течение получаса. Предполагается, что при таком способе варки омары умрут безболезненно.

Справляюсь по ежедневнику, что еще нужно сделать сегодня. Медные ручки и фурнитуру лучше всего очищать половинкой лимона, предварительно окунув его в соль.

Эти омары, с которыми будут практиковаться мои хозяева, называются гигантскими, потому что они большие – весом около трех фунтов каждый. Омары весом менее фунта называются «в весе цыпленка». Омары без одной клешни называются отбракованными. Омары, которые я вынимаю из холодильника, завернуты в сырые морские водоросли. Их надо будет варить полчаса, не меньше. Этому тоже учат на занятиях по домоводству.

Передние клешни у омаров – разные. Та, что побольше, утыкана штуками наподобие коренных зубов и называется давящей. Клешня поменьше, тоже утыканная наростами, только в виде резцов, называется режущей. Боковые ножки – они значительно меньше передних – называются ходильными ногами. В нижней части хвоста, с обратной стороны, располагается пять рядов крошечных плавничков. Они называются плавательными ножками. Это тоже – из домоводства. Если плавательные ножки в переднем ряду мягкие и как будто пушистые, наподобие перышка, значит, это омар-самка. Если передний ряд шершавый и твердый, значит, это омар-самец.

Если вам попадется самка, обратите внимание на костяное отверстие в форме сердечка между двумя задними ходильными ногами. Если за последние два года эта самка спаривалась с самцом, в том отверстии еще должна была остаться живая сперма.

Телефон начинает звонить, когда я ставлю кастрюлю с омарами на плиту – три самца и две самки, без спермы.

Телефон звонит, пока я включаю плиту на самый маленький огонь.

Телефон звонит, пока я мою руки.

Телефон звонит, пока я делаю себе кофе с сахаром и со сливками.

Телефон звонит, пока я беру из пакета, где были омары, горсть морских водорослей и кладу их в кастрюлю. Один омар поднимает давящую клешню как бы в знак протеста. Давящие клешни, режущие клешни – они все скреплены резинкой.

Телефон звонит, пока я еще раз мою и вытираю руки.

Телефон звонит, и я отвечаю.

Дом Гастонов, говорю.

– *Резиденция* Гастонов! – кричит на меня телефон. – Повтори: *резиденция* Гастонов! Скажи, как мы тебя учили!

На занятиях по домоводству нам тысячу раз повторяли, что называть дом *резиденцией* допустимо только в печатных изданиях и на табличке у входа.

Я отпиваю кофе и чуть прибавляю огонь под омарами. Телефон продолжает орать:

– Ты меня слышишь? Алло? Нас там не разъединили?

Пара, на которую я работаю, оказалась однажды единственной из гостей на каком-то там званом обеде, кто не знал, куда нужно потом класть салфетку, которую принесли вместе с полоскательницей для рук. С тех пор они просто зациклились на изучении этикета. То есть

они по-прежнему заявляют, что это вообще никому не нужно, но одна только мысль, что они могут чего-то не знать в плане застольного этикета, повергает их в тихий ужас.

Телефон продолжает орать:

– Отвечай же, ну! Черт! Расскажи про сегодняшний ужин! Чем нас будут кормить, чем-нибудь заковыристым? А то мы уже извелись за весь день!

Я открываю шкафчик над плитой и смотрю, все ли на месте: специальная вилочка и лопаточки для омаров, щипцы для орехов, палочки для извлечения ореховых ядер и два фартука.

Благодаря мне эти люди теперь знают, как разложить десертные приборы всеми тремя допустимыми способами. Это я научил их правильно пить чай со льдом – чтобы длинная ложка оставалась в бокале. Тут есть свой секрет: нужно придерживать ложку, захватив ее между указательным и средним пальцами и прижав ее к краю бокала точно напротив рта. Пить следует осторожно, чтобы не выколоть глаз. Вот такой хитрый способ, и о нем мало кто знает. Обычно люди вынимают ложку и ищут, куда бы ее положить, чтобы не испачкать скатерть. А то и кладут ее прямо на скатерть, оставляя мокрое пятно.

Только когда телефон умолкает, я начинаю говорить.

Я говорю телефону: вы меня слушаете?

Я говорю телефону: представьте себе столовую тарелку.

Сегодня, говорю я, суфле из шпината будет располагаться на позиции один час. Свекольный салат – на позиции четыре часа. Мясо с миндальной крошкой – на другой половине тарелки, на позиции девять часов. Есть его нужно ножом и вилкой. Мясо будет с костями.

На самом деле это лучшее место из всех, где мне приходилось работать – ни детей, ни кошек, ни воцеленных полов, – и я не хочу его потерять. Если бы я не держался за это место, я бы сейчас от души позабавился. Например, я сказал бы хозяевам, что фруктовое мороженое едят, вылизывая языком из вазочки – ну, как собаки вылизывают свои миски.

Или: отбивную из молодого барашка берете в зубы и энергично мотаете головой из стороны в сторону.

Уж я бы придумал, что им присоветовать. И что самое страшное: они, вероятно, меня бы послушались. Потому что я еще ни разу их не подвел. Они мне доверяют.

Помимо этих уроков по этикету, самое сложное для меня – оправдывать ожидания хозяев, подстраиваться под их представление обо мне.

Спросите меня, как заделывать дырки в ночных рубашках, шляпах и смокингах, дырки, которые остаются после ножевых ударов. Мой секрет: немножко прозрачного лака для ногтей – наносить на прокол с изнанки.

На занятиях по домоводству учат совсем не тому, что может тебе пригодиться в работе, но со временем ты сам всему учишься. В церковной общине, где я родился и вырос, нас учили, как сделать так, чтобы свечи не оплывали: их надо вымочить в сильном растворе соли и держать в холодильнике. Такой вот полезный совет по хозяйству. А зажигать свечи следует соломинкой сырого спагетти. Шестнадцать лет я убирался в домах у людей, и за все это время меня ни разу не попросили зажечь свечи горящей спагеттиной.

Все, чему учат на домоводстве в церковной общине, вряд ли тебе пригодится во внешнем мире. А вот тому, что тебе пригодится, никто не учит.

Например, нас не учили, что красноту от шлепков и ударов на коже можно убрать увлажняющим кремом зеленого цвета. И любой джентльмен должен знать, как полезно иметь при себе кровоостанавливающий карандаш – на тот случай, если вдруг леди ударит тебя по лицу и рассечет тебе кожу кольцом с бриллиантом. Замажьте рану суперклеем – и можете смело идти на премьеру фильма, и если вас будут фотографировать, улыбайтесь и ничего не бойтесь: шрама видно не будет.

Всегда держи где-то поблизости красную тряпочку для мытья посуды, чтобы вытирать кровь, и тебе не придется возиться еще и со стиркой тряпки.

В ежедневнике сказано, что сейчас я точу ножи.

Да, что касается званого ужина. Я продолжаю рассказывать этим людям, на которых работаю, что их сегодня ждет.

Главное, не впадать в панику. Да, там будут омары.

На столе будет только одна солонка. Блюдо из дичи подадут после жаркого. Это будут голуби. Есть голубей – это даже сложнее, чем есть омаров. Все эти мелкие косточки, которые нужно вынуть. И не заляпать при этом жиром вечерний костюм. Иными словами, сплошная мука. После аперитива подадут вино: шерри – к супу, белое – к омару, красное – к жаркому, и еще одно красное – к голубям. К тому времени весь стол уже будет заляпан пятнами соуса и подливки. По белой скатерти расплывутся подтеки пролитого вина.

Вот такая у меня работа. Очень хорошее место. Но даже на самом хорошем месте никому не интересно, где за столом должен сидеть почетный гость-мужчина.

Те изысканные обеды, о которых рассказывали учителя домоводства, свежие цветы на столе и чашечка черного кофе, достойное завершение дня, что прошел, как всегда, утонченно, размеренно и элегантно, – всем на это плевать.

На сегодняшнем ужине между супом и жарким каждому из гостей предстоит изуевчить большого мертвого омара. Тридцать четыре магната, тридцать четыре удачливых мерзавца, тридцать четыре поверхностно окультуренных дикаря в строгих вечерних костюмах будут всю делать вид, что они знают, как это едят.

Потом гостям принесут полоскательницы для рук с теплой водой и дольками лимона, и эти тридцать четыре гурмана будут сидеть над своими развороченными омарами и улыбаться довольной улыбкой на блестящих от сока лицах, а рукава их дорогих пиджаков будут по локоть измазаны в майонезе и взбитом масле.

Проработав семнадцать лет в чужих частных домах, я узнал все. Что можно узнать, о разбитых лицах, о кукурузе под сливочным соусом, о подбитых глазах, вывернутых плечах, взбитых яйцах, синяках на коленях и голеньях, поцарапанных роговицах, нашинкованном луке, об укусах всех видов, пятнах от никотина, интимных смазках, выбитых зубах, рассеченных губах, взбитых сливках, вывихнутых руках, вагинальных разрывах, о ветчине со специями, сигаретных ожогах, раздавленных ананасах, грыжах, прерванных беременностями, специфической грязи от домашних животных, расколотых кокосовых орехах, выбитых глазах, растяжении связок и растяжках на коже.

Если дама, на которую ты работаешь, полдня проплакала у себя в спальне, посоветуй ей подвести глаза синим или сиреневым карандашом – при таком макияже заплаканные глаза смотрятся не такими красными и припухшими. В другой раз, когда кто-нибудь выбьет зуб ее мужу, сохрани зуб в стакане с молоком, пока хозяин не сходит к зубному. А пока что смешай оксид цинка с гвоздичным маслом так, чтобы получилась белая паста. Промой дырку во рту пострадавшего и залепи ее пастой – получится что-то вроде экстренной пломбы, которая затвердевает мгновенно.

Пятна от слез на подушке удаляются точно так же, как и пятна от пота. Раствори пять таблеток аспирина в стакане воды и промокай пятно, пока оно не сойдет. Даже если там были подтеки туши, проблема решается без труда.

Если это можно назвать решением.

Когда ты чистишь пятно, рыбу, дом, тебе очень хочется думать, что ты делаешь этот мир чуточку лучше, но все становится только хуже – причем с твоей же невольной подачи. Ты рассуждаешь примерно так: может быть, если я буду работать быстрее и лучше, я сумею сдержать наступление хаоса. Но в один прекрасный день ты меняешь во внутреннем дворике лампочку, что прослужила пять лет, то есть весь гарантированный срок службы, и вдруг

понимаешь, что ты так и будешь менять эти лампочки всю оставшуюся жизнь – сменишь, может быть, еще десяток, а потом ты умрешь.

Время уходит. Силы тоже уходят. Прежней резвости – как не бывало. Ты потихоньку снижаешь темп.

Потихоньку сдаешь позиции.

В этом году у меня на спине появились волосы, а нос продолжает расти. Лицо у меня стало такое, что и лицом-то его назвать можно с очень большой натяжкой. Рожа рожей.

Проработав в богатых домах столько лет, я понял, что лучший способ очистить от крови багажник автомобиля – не задавать лишних вопросов.

Телефон говорит:

– Алло?

Лучший способ не потерять хорошую работу – делать то, что тебе говорят.

Телефон говорит:

– Алло?

Воротнички, испачканные в помаде, хорошо отчищаются белым уксусом.

Сложные белковые пятна типа пятен от спермы надо сперва застирать холодной соленой водой, потом – стирать как обычно.

Так сказать, обучение в процессе работы.

Узнаешь много нового и полезного.

Кстати, хотите – записывайте. Вдруг когда пригодится.

Осколки стекла от разбитых стаканов или выбитых окон в спальне лучше всего собирать куском хлеба.

Если вы сами все знаете, так и скажите.

Телефон говорит:

– Алло?

Так и скажите: мол, плавали – знаем.

Еще на занятиях по домоводству учат, как правильно отвечать на приглашения на свадьбу. Как правильно обращаться в письме к Папе Римскому. Гравировать монограммы на серебре. В школе в церковной общине Истинной Веры нас учат, что мир – это такой элегантный маленький театр для демонстрации хороших манер, где ты – режиссер. Учителя расписывают нам обеды и званые ужины, где все приглашенные знают, как правильно есть омаров.

А потом выясняется, что не тут-то было.

Потом выясняется, что тебе ничего не светит, кроме как увязнуть в ежедневной рутине, выполняя одну и ту же работу – день за днем.

Надо почистить камин.

Надо постричь газон.

Перевернуть все бутылки в винном погребе.

Снова постричь газон.

Вычистить все серебро.

Повторить все сначала.

И все же, хотя бы раз в жизни, мне хотелось бы доказать, что я что-то могу. Что я могу не только прикидываться, будто я ничего не вижу и не понимаю. Мир может стать лучше, значительно лучше. Всего-то и нужно, что просто спросить.

Нет, правда давайте. Спросите меня.

Как едят артишоки?

Как едят спаржу?

Спросите меня.

Как едят омара?

Омары в кастрюле выглядят уже вполне мертвыми, так что я достаю одного. Я говорю телефону: сперва отламываем две передние клешни.

Остальных четырех омаров я потом уберу в холодильник – на них хозяйка будет тренироваться. Я говорю телефону: вы лучше записывайте.

Я разламываю клешни и ем мясо, что было внутри.

Потом как бы заламываем омара, прогибая его в спине, пока не отломится хвост. Отламываем самый кончик хвоста, тельсон, и при помощи вилки для устриц и прочих морепродуктов выталкиваем из хвоста мясо. Удаляем кишечную жилку, что идет вдоль хвоста. Если жилка прозрачная, значит, омар ничего не ел за последнее время. Толстая темная жилка означает, что омар ел недавно и не успел испражниться.

Я ем мясо, которое достал из хвоста.

Вилка для устриц, говорю я с набитым ртом, это такая маленькая вилочка с тремя зубчиками.

Потом отделяем от туловища спинной панцирь, щиток, и съедаем зеленую пищеварительную железу – она называется томале. Съедаем кровь, запекающуюся в белую слизь. Съедаем незрелую икорную массу кораллового цвета.

Я ем и то, и другое, и третье.

У омаров так называемая «открытая» кровеносная система, то есть кровь вытекает прямо в полости тела и омывает различные органы.

Легкие у омаров похожи на плотную губку. Они съедобны, говорю я телефону и облизываю пальцы. Желудок – твердый мешок, состоящий из таких штуквин, похожих на зубы. Располагается сразу за головой. Его не едят.

Я продолжаю копаться в разделанной тушке. Высасываю понемножечку мяса из каждой ходильной ноги. Откусываю крошечные жабры. Мозг не трогаю, он несъедобный.

И вдруг замираю.

То, что я вижу, – это невозможно.

Телефон орет:

– Ладно, и что теперь? Это все? Больше там ничего не едят?

На самом деле этого просто не может быть. Потому что уже почти три часа. Согласно моему сегодняшнему расписанию, меня вообще не должно быть на кухне – я сейчас должен копаться в саду. В четыре часа я займусь переустройством цветочных клумб. В пять тридцать выдерну весь шалфей и поменяю его на голландский ирис, розы, львиный зев, папоротники и газонное покрытие.

Телефон орет:

– Что там случилось? Отвечай! Что-то не так?

Я смотрю в ежедневник. Он говорит мне, что я доволен сегодняшним днем. Я хорошо поработал. Много чего успел сделать. Там все записано – черным по белому. Все, что было намечено на сегодня, я выполняю.

Телефон орет:

– А дальше-то что?

Сегодня – как раз такой день, когда солнце встает исключительно с целью тебя унижить.

Телефон орет:

– Еще что-нибудь надо делать?

Я не обращаю внимания на эти вопли, потому что делать уже ничего не надо. То есть почти ничего.

Может быть, это просто игра света и тени, но я съел омара почти целиком и только в самом конце заметил, что у него бьется сердце.

43

Согласно моему сегодняшнему расписанию, я пытаюсь удержать равновесие и не свалиться. Я стою на верхней ступеньке стремянки с охапкой искусственных цветов в руках: розы, ромашки, дельфиниумы, левкои. Я пытаюсь удержать равновесие. Стою, поджав пальцы внутри ботинок. Передвигаю очередной пластиковый букет. Некролог из газеты недельной давности лежит у меня в рубашке в нагрудном кармане.

Человек, которого я убил на прошлой неделе, должен быть где-то здесь. То, что от него осталось. От того парня с винтовкой под подбородком, который сидел на полу один в своей пустой квартире и просил меня назвать хотя бы одну убедительную причину не нажимать на курок. Я уверен, что он где-то здесь. Тревор Холлис. И я его найду.

Вечная память.

Покойся с миром.

Ушел из жизни.

Или он найдет меня. На что я очень надеюсь.

Я стою на самой верхней ступеньке, футах, наверное, в двадцати, двадцати пяти, тридцати от пола, и делаю вид, что вношу в каталог очередной искусственный цветок. Очки сползают на кончик носа. Я пишу у себя в блокноте: образец № 786, красная роза, изготовлена около ста лет назад.

Надеюсь, что, кроме меня и мертвецов, здесь больше никого нет.

В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и уход за цветником. Я должен сажать цветы вокруг дома, где я работаю. А мне приходится рвать цветы в том же самом саду, за которым я вроде как должен ухаживать.

Главное, чтобы вы поняли: я – не кладбищенский вор.

Лепестки и чашечка (чашелистики) розы отлиты из красного целлулоида. Впервые полученный в 1863 году, целлулоид – старейший и наименее устойчивый из всех видов пластмассы. Я пишу у себя в блокноте: листья розы – из зеленого целлулоида.

Прекращаю писать и осматриваю галерею, глядя поверх очков. В самом дальнем конце коридора вижу крошечную фигурку на фоне огромного витража. На витраже изображен какой-то древний библейский город, то ли Содом, то ли Иерихон – а может, вообще Храм Соломона, – который сгорает в ветхозаветном огне, ослепительном и беззвучном. Красные и оранжевые языки пламени, падающие колонны, бордюры, каменные блоки из развороченных стен, и из этого полыхающего хаоса выходит крошечная фигурка в маленьком черном платье, то есть сперва она крошечная, но она приближается и обретает нормальный размер.

Я очень надеюсь, что она мертвая. Я хочу завести с ней роман. Прямо здесь и сейчас. С этой мертвой девушкой. С любой мертвой девушкой. Я человек очень непривередливый. Не из тех, кого называют разборчивыми.

Для здешних служащих я придумал такую ложь: я изучаю историю развития и производства искусственных цветов в процессе промышленной революции. Пишу диссертацию по теме «Природа и дизайн». Для студента я, может быть, и староват. Но я учусь в аспирантуре.

У девушки длинные рыжие волосы, какие теперь бывают только у женщин из какой-нибудь ортодоксальной церкви. Отсюда, сверху, ее гибкая фигурка кажется такой маленькой. Я смотрю на нее, на ее тонкие руки и ноги, все смотрю и смотрю, и мне уже начинает казаться, что у меня есть все задатки к тому, чтобы стать педофилом.

Хотя и не самый старый образец из тех, что я видел, эта роза, которую я якобы изучаю, – самая хрупкая. Женский орган размножения – пестик, включая рыльце, столбик и

завязь. Мужской орган – тычинка, включая тычиночную нить из проволоки и крошечный стеклянный пыльник.

В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и уход за садом. Я должен выращивать там цветы, но я не могу. Я не могу вырастить даже сорняк.

Для себя я придумал такую ложь: я здесь собираю цветы. Свежие цветы, чтобы поставить в доме. Я ворую искусственные цветы, чтобы втыкать их в сад. Люди, на которых я работаю, смотрят на сад исключительно из окна, так что я расстилаю искусственное газонное покрытие, расставляю по саду папоротники и плющ и втыкаю искусственные цветы – по временам года. Смотрится очень красиво, если не слишком приглядываться.

Цветы смотрятся как живые. Такие естественные. Безмятежные.

Лучшее место, где можно разжиться луковицами цветов, – мусорная свалка за мавзолеем. Сюда выбрасывают пластмассовые горшки с непроросшими луковицами гиацинтов и тюльпанов, тигровых и одноцветных лилий, нарциссов и крокусов, но их еще можно реанимировать – забрать домой и вернуть к жизни.

Образец № 786, пишу я в блокноте, стоит в вазе у склепа 2387, в самом верхнем ряду, в малой южной галерее, на седьмом уровне, в крыле Безмятежности. Верхний ряд склепов, пишу я в блокноте, располагается на высоте тридцать футов над полом, что, вероятно, и послужило причиной почти идеальной сохранности этой розы – у одного из старейших склепов в одной из старейших частей Мемориального мавзолея Колумбии.

Потом я ворую розу.

Людам, которые застают меня здесь, я говорю совершенно не то.

Официальная версия: здесь, в мавзолее, еще сохранились редкие экземпляры искусственных цветов середины девятнадцатого века. В каждом из шести главных крыльев здания – они называются крыло Безмятежности, крыло Умиротворения, Вечности, Покоя, Гармонии и Новой Надежды – от пяти до восемнадцати уровней. Глубина бетонных ячеек в стенах – девять футов, так что туда спокойно влезает даже самый длинный гроб. Галереи вообще никогда не проветриваются. Посетителей мало. Если кто и приходит, то редко и ненадолго. Температура и влажность всегда постоянные – низкие.

Старейшие образцы восходят к культуре викторианского языка цветов. Согласно классической книге мадам де ла Тур *«Le langage des fleurs»*³, изданной в 1840 году, фиолетовая сирень означает смерть. Белая сирень рода *Syringa* означает первую любовь.

Герань означает аристократическую утонченность.

Лютик – ребячество.

Поскольку в то время искусственные цветы делались в основном для украшения шляпок, самые лучшие образцы сохранились теперь только в старых мавзолеях.

Вот что я говорю людям. Моя официальная версия правды.

Обычно я торчу на самом вершине, со своим блокнотом и ручкой, и потихонечку прячу в карман букетик поддельных анютиных глазок и другие цветы, оставленные у склепов в верхних рядах. Если кто-то заходит в галерею, я шепчу ему сверху вниз, сложив ладонь чашечкой у рта: это для моей диссертации.

Я занимаюсь научными изысканиями.

Обычно я прихожу сюда днем, но иногда – поздно ночью. Когда все уходит. Я брожу по пустым полуночным галереям и мечтаю, что вот я сейчас поверну за угол, и там будет открытый склеп, а рядом со склепом – засохший труп с дряблой кожей на черепе, в затвердевшем костюме в расплывшихся пятнах от жидкостей, которые вытекли из тела давным-давно. Я наткнулся на этот иссохший труп в какой-нибудь сумрачной галерее, где пронзительная тишина, и лишь одинокая флюоресцентная лампа гудит под потолком, а потом она замигает,

³ «Язык цветов» (фр.).

и свет погаснет, и я останусь в полной темноте, наедине с этим мертвым чудовищем, навсегда.

Глаза у трупа давно провалились в глазницы, и я хочу, чтобы он шарил вслепую по стенам, оставляя на холодном мраморе смазанные пятна гнили, и чтобы сквозь полуистлевшую плоть у него на пальцах проглядывали кости. Его увядший бесформенный рот не закрывается вообще, вместо носа – две темные дырочки, из-под ворота рубашки проглядывают ключицы.

Я буду искать имена, знакомые мне по некрологам. Вот они, выбиты в камне навечно, – имена тех людей, что последовали моему совету.

Давай. Убей себя.

Любимый сын. Милая дочка. Верный друг.

Жми на курок.

Экзальтированная душа.

Вот он я, здесь. Пришло время возмездия. Ну, давайте.

Берите меня.

Пусть за мной гонятся плотоядные зомби.

Пусть я пройду мимо склепа и услышу, как что-то скребется с той стороны мраморной плиты. Ночью, когда все уходит, я прикладываю ухо к холодному мрамору и слушаю. Я жду. Вот она, истинная причина, почему я сюда хожу.

Стебель у образца № 786, пишу я в блокноте, сделан из толстой 30-й проволоки, обмотанной зеленой тканью. Толщина проволоки для стебельков листьев – 20.

Я не какой-нибудь псих ненормальный. Просто мне хочется получить доказательство, что смерть – это еще не конец. Даже если однажды ночью меня схватят ожившие мертвецы, даже если меня разорвут на части, по крайней мере я буду знать, что умираю не насовсем. И это немного меня утешит.

Зная, что жизнь после смерти действительно существует, я смогу умереть счастливым. Так что я жду. Смотрю в оба. Слушаю, приложив ухо к холодной мраморной плите. Я обхожу их все. Я пишу у себя в блокноте: в склепе 7896 все тихо.

В склепе 7897 все тихо.

В склепе 7898 все тихо.

Я пишу у себя в блокноте: образец № 45 – белая бакелитовая роза. Бакелит – старейшая из синтетических пластмасс. Его изобрели в 1907 году, когда один химик нагрел смесь фенола с формальдегидом. В викторианском языке цветов белая роза означает молчание.

Девушка появляется в самый что ни на есть подходящий день для сбора новых цветов. Вчера был День поминовения, зато сегодня здесь пусто. Толпы народу схлынули, теперь – до следующего года. Мы с ней одни в галерее. Я смотрю на нее и надеюсь, что она мертвая.

На следующий день после Дня поминовения сторож обходит галереи с мусорным баком на колесиках и собирает все свежие цветы. Самый низкий сорт свежих цветов, «похоронный сорт», как его называют флористы.

Я часто сталкиваюсь со сторожем, но мы с ним ни разу не заговорили. Однажды он застал меня ночью, когда я слушал склепы – стоял, приложив ухо к плите. Его фонарик высветил меня из темноты, но даже тогда он прошел мимо, упорно глядя в другую сторону. Я держал в руке туфлю и стучал по плите. Привет. Я выстукивал азбукой Морзе: меня кто-нибудь слышит?

Цветы похоронного сорта смотрятся совершенно нормально, но вянут уже на следующий день. И вот представьте себе картину: поникшие, потемневшие цветы уныло свисают из бронзовых ваз, закрепленных у каждого склепа, гнилая вода каплет на мраморный пол, лепестки покрывает пушистая плесень – это печальное зрелище сразу наводит на мысли о том, что происходит с твоими родными и близкими там, внутри.

На следующий день после Дня поминовения сторож выносит их на помойку. Вянушие цветы.

Но зато остается богатый урожай из новых искусственных пионов из темно-красного шелка, который кажется почти черным. В этом году появились ароматизированные пластмассовые орхидеи. Роскошные длинные гирлянды белых и синих ипомей из синтетического шелка прямо просятся, чтобы их украли.

Среди старейших образцов есть цветы из шифона, органзы, бархата, жоржета, крепдешина и широких атласных лент. У меня в руках – охапка цветов. Львиный зев, душистый горошек, шалфей. Штокрозы, ночные красавицы, незабудки. Поддельные, ненастоящие и красивые, но жесткие и шершавые, в этом году искусственные цветы сбрызнуты прозрачными капельками полистирольной росы.

В этом году, с опозданием на день, приходит девушка. Приходит девушка и приносит совершенно непримечательный букетик кримпленовых тюльпанов и анемонов – классические викторианские цветы-символы печали и смерти, опустошения, тоски и заброшенности, – и я смотрю на нее с верхней ступеньки лестницы, в дальнем конце западной галереи, на шестом этаже в крыле Умиротворения, со своим полевым блокнотом в руках.

Передо мной образец № 237, послевоенная хризантема из вискозы, послевоенная – потому что во время Второй мировой войны не было ни вискозы, ни шелка, ни проволоки на то, чтобы делать цветы. В войну цветы делали из бумаги, креповой или рисовой, так что они давно рассыпались в пыль, даже здесь, в Мемориальном мавзолее Колумбии, при постоянных пятидесяти по Фаренгейту и низкой влажности.

Передо мной склеп № 678, Тревор Холлис, двадцати четырех лет от роду, ушел из жизни, оставив безутешных родителей и сестру. Любимый сын. Вечная память. Моя последняя жертва. Я его нашел.

Склеп № 678, он почти в самом верхнем ряду. Чтобы рассмотреть его как следует, надо подняться по лестнице или в специальной подъемной люльке, но даже отсюда, с самой верхней ступеньки – а это ступеньки на две превышает все нормы по безопасности, – мне видно, что эта девушка не такая, как все. В ней есть что-то особенное. Что-то европейское. Что-то болезненное. Как будто она всю жизнь недокормленная. Недокормленная – не в смысле, что ей не хватает питания и солнца, той рекомендованной суточной нормы, необходимой для поддержания красоты по средне-северо-американским стандартам. Ее руки и ноги кажутся какими-то восковыми и белыми, как непропеченное тесто. Такую девушку очень легко представить в концлагере, за колючей проволокой. Я смотрю на нее, и меня переполняет отчаянная надежда, что, может быть, она все-таки мертвая. То же самое я чувствую, когда смотрю старые фильмы про вампиров и зомби, когда они выбираются из своих могил, чтобы насытить свой голод, голод до человеческой плоти. Меня переполняет отчаянная надежда, как это бывает, когда я смотрю фильмы про изголодавшихся и ненасытных живых мертвецов, и я твержу про себя: ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста.

Мне так хочется сжать в объятиях мертвую девушку. Приложить ухо к ее груди и не услышать вообще ничего. Даже если меня сожрут зомби, я буду знать, что я не просто плоть и кровь, не просто кожа и кости. Демон, ангел, злой дух – я хочу, чтобы явился хоть кто-то. Омерзительный труп, зыбкий призрак, длинноногая бестия – я просто хочу, чтобы меня взяли за руку.

Когда смотришь отсюда, с шестого ряда склепов, ее черное платье как будто лоснится. Тонкие белые руки и ноги смотрятся так, словно их обтянули новенькой, но низкокачественной человеческой кожей. Даже с такой высоты мне видно, что лицо у нее – массового производства.

Песнь Песней, глава седьмая, стих первый:

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бедр твоих как ожерелье...»

Хотя снаружи – тепло и солнце, здесь, внутри, все холодное. Свет пробивается сквозь витраж. Пахнет дождем, пропитавшим бетонную стену. На ощупь всё – полированный мрамор. Звук – где-то там, далеко. Шум капель давно пролившегося дождя, скользящих по арматуре, шум капель дождя – в трещинах в застекленной крыше, шум капель дождя внутри пустых склепов.

По полу блуждают невесомые шарики пыли, волос и перхоти. Их еще называют какашками призраков.

Девушка поднимает голову и видит меня. Она подходит бесшумно в своих черных мягких туфлях с каблуками как будто из фетра.

Здесь очень легко заблудиться. Коридоры смыкаются под совершенно невообразимым углом. Чтобы найти нужный склеп, приходится то и дело сверяться с картой. Галереи перетекают одна в другую в некоей телескопической перспективе, где пространство как будто искривлено, так что резная скамейка или мраморная статуя в дальнем конце может обернуться чем-то другим, когда ты дотуда дойдешь. Мягкие пастельные тона мраморных плит периодически повторяются, так что, если ты вдруг заблудишься, ты даже не сразу поймешь, что заблудился.

Девушка подходит к лестнице, и я там, наверху, – как в ловушке, где-то на середине между девушкой у меня под ногами и летящими ангелами на расписном потолке. Я отражаюсь в стене полированных мраморных плит, как в зеркале. В полный рост, среди эпитафий.

Скорбим и помним.

С любовью.

Спи спокойно.

И все это – я.

Продрогшие пальцы не чувствуют ручки. Образец № 98 – розовая камелия из китайского шелка. Такой чистый оттенок розового говорит о том, что шелк предварительно кипятили в мыльной воде, чтобы выпарить весь серицин. Стебель сделан из проволоки в оплетке из зеленого полипропилена, что типично для данного периода. Камелия на языке цветов означает непревзойденное мастерство.

Девушка поднимает ко мне лицо, похожее на простенькую маску. Я не знаю, живая она или мертвая. Я не знаю, как это узнать. Под платьем не видно, дышит она или нет. Здесь хоть и прохладно, но все-таки не настолько прохладно, чтобы изо рта шел пар.

Песнь Песней, глава седьмая, стих второй:

«Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё – ворох пшеницы, обставленный лилиями».

Секс рядом с едой – в Библии это часто.

Образец № 136: розовые бутоны из маленьких ракушек, выкрашенных в розовый цвет. Образец № 78: бакелитовый нарцисс. Хочу забыться в ее мертвых холодных объятиях. Хочу, чтобы она мне сказала, что жизнь никогда не кончается. Что моя жизнь – это не потенциальный компост похоронного сорта, который назавтра уже увянет и останется только имя в некрологе.

Эти мили и мили мраморных стен с мертвыми, запертыми внутри, – такое ощущение, что мы находимся в переполненном здании, где толпы народу, и воздух влажный от их дыхания, но в то же время мы здесь абсолютно одни. Может пройти целый год между ее вопросом и моим ответом.

Мое дыхание туманит выбитые в камне даты, что заключают в себе, как в скобках, короткую жизнь Тревоора Холлиса. Эпитафия такая:

Для всех он был неудачником,
Но для меня он был всем.

Тревор Холлис, ну сделай хоть что-нибудь. Приди и взыщи возмездия.

Запрокинув голову, девушка улыбается мне снизу. На фоне бесконечно серого камня ее рыжие волосы полыхают огнем, и она говорит мне снизу:

– Ты принес цветы.

Я неловко перебираю руками, и цветы – георгины, фиалки, ромашки – осыпают ее разноцветным дождем.

Она ловит гортензию и говорит:

– Сюда никто еще не приходил после похорон.

Песнь Песней, глава седьмая, стих третий:

«Два сосца твои, как два козленка, двойни серны».

Ее тонкие губы – красные-красные. Рот – как прорезь на лице.

Она говорит:

– Ну, привет. Я Фертилити.

Она поднимает цветок высоко над головой и держит, как будто я могу до него дотянуться. И она говорит:

– Ну и откуда ты знаешь моего брата Тревора?

42

Ее звали Фертилити Холлис. Это ее полное имя, без шуток, и я очень хочу рассказать про нее моему психологу из социальной службы, с которой встречаюсь на следующий день.

Это – одна из немногих моих обязанностей. Я должен встречаться со своим психологом раз в неделю и беседовать с ней не меньше часа. Взамен мне дают ваучеры на оплату жилья. Плюс бесплатное материальное вспоможение в виде сыра, сухого молока, меда и масла. Бесплатное трудоустройство. И это – лишь некоторые из льгот, которые ты получаешь в рамках Федеральной программы поддержки уцелевших. Квартира – собачья конура, и сыр в придачу. Собачья работа и возможность иной раз стащить домой пару кусков телятины. На жизнь хватает, но едва сводишь концы с концами.

Берешь что дают. Выбирать не приходится. Скажем, льготной парковки тебе не предложат, но зато раз в неделю, на час, к тебе приезжает психолог. Каждый вторник она приезжает в дом, где я работаю, на своей скромной служебной машине, со своим профессиональным сочувствием, толстыми папками, где хранятся истории болезни ее подопечных, и журналом учета пробега автомобиля, всех этих миль между следующим и предыдущим «объектом наблюдения». На этой неделе нас у нее – двадцать четыре. На прошлой было двадцать шесть.

Каждый вторник она приезжает ко мне, чтобы слушать.

И я каждый раз спрашиваю у нее, сколько еще нас осталось. Уцелевших. По стране в целом.

Мы – на кухне. Она сбросила туфли. Хрустит кукурузными чипсами с дайкири. Ее большая брезентовая сумка, набитая папками с материалами о клиентах, стоит на столе между нами. Она достает из сумки планшет, быстро пролистывает еженедельные формы отчета о состоянии подопечных лиц, отбирает мою и кладет ее сверху. Проводит пальцем по столбику цифр и говорит:

– Сто пятьдесят семь. По стране в целом.

Она достает ручку и пишет сегодняшнее число в моей еженедельной регистрационной форме. Смотрит на часики у себя на руке, чтобы проставить время. Переворачивает планшет и пододвигает мне, чтобы я расписался внизу. В подтверждении, что она приезжала. Что мы разговаривали. Что я с ней делился своим сокровенным, а она принимала участие в моей судьбе. Она протягивает мне ручку. Мы распахнули друг другу сердца. Услышь меня, исцели меня, спаси меня, поверь мне. И если после того, как она уедет, я перережу себе горло, это будет не ее вина.

Пока я расписываюсь на бланке, она говорит:

– Ты знал эту женщину, что работала в большом желто-коричневом доме чуть дальше по улице?

Нет. Да. Ладно, я знаю, о ком она говорит.

– Такая крупная женщина. Длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Настоящая Брунхильда, – говорит психолог. – Два дня назад покончила с собой. Повесилась на удлинительном шнуре. – Психолог разглядывает свои ногти: сперва кладет пальцы одной руки на ладонь другой, потом растопыривает пыльца, вытянув руку перед собой. Она роется у себя в сумке и достает флакончик ярко-красного лака для ногтей. Она говорит: – Ну и ладно. Тем лучше. Мне она никогда не нравилась.

Я возвращаю ей планшет и спрашиваю: кто-нибудь еще?

– Садовник. – Она трясет ярко-красный флакончик у себя над ухом. Свободной рукой перебирает отчеты, пришпиленные к планшету. Пододвигает планшет ко мне, чтобы мне

было видно. На бланке подопечного № 134 стоит большая красная печать: ОСВОБОЖДЕН ОТ ОПЕКИ. Печать и число.

Печать осталась от какой-то другой программы по стационарному лечению. Там она означала именно то, что означала: что человек признан здоровым и в опеке уже не нуждается. Здесь она означает, что подопечный ушел из жизни. Но никому не хотелось заказывать печать: СКОНЧАЛСЯ. Психолог рассказала мне об этом пару лет назад, когда опять пошла волна самоубийств. Прах к праху. Пыль к пыли. Круговорот веществ в природе.

– Выпил какой-то там гербицид, – говорит она. Она пытается открыть флакончик. Крутит его в руках. Крутит и крутит, так что костяшки пальцев уже побелели. Она говорит: – Они все что угодно готовы сделать, лишь бы меня выставить в дурном свете, мол, некомпетентная дура.

Она легонько стучит флакончиком по краю стола и снова пытается его открыть.

– Слушай, открой, пожалуйста. – Она протягивает мне флакончик.

Я открываю флакончик, легко, и отдаю ей обратно.

– Ты их знал? – спрашивает она.

Нет, я их не знал. То есть я знал, кто они такие, но по общине я их не помню. В детстве и юности я их не знал, но в последние несколько лет я встречал их на улице, по соседству. Они по-прежнему одевались по старому церковному установлению. Мужчина носил подтяжки, свободные мешковатые брюки и рубашку с длинным рукавом, неизменно застегнутую на все пуговицы даже в самую жару. Женщина ходила в бесформенном платье неопределенного цвета – такие платья, я помню, носили все женщины в нашей общине. И она по-прежнему носила капор. А мужчина всегда ходил в широкополой шляпе, летом – в соломенной, зимой – в черной фетровой.

Да. Ладно. Я встречал их на улице, по соседству. Их было трудно не заметить.

– А когда ты их видел, – говорит психолог, проводя маленькой кисточкой по ногтям: красное на красном, – ты не огорчался? Когда ты встречал людей из своей старой общины, тебе не было грустно? Тебе не хотелось заплакать? Может быть, тебя злило, что эти люди по-прежнему одеваются так, как они одевались в общине?

Звонит телефон.

– Когда ты их видел, ты не вспоминал о своих родителях?

Звонит телефон.

– Ты не испытывал чувство бессильной ярости, когда думал о том, что стало с твоей семьей?

Звонит телефон.

– Ты вспоминаешь о том, как все было до самоубийства?

Звонит телефон.

Психолог говорит:

– Ты трубку брать будешь?

Сейчас. Сначала мне нужно свериться с ежедневником. Я показываю ей список дел, которые мне надо сделать сегодня. Предполагается, что я сейчас должен трудиться в поте лица. Люди, на которых я работаю, звонят, чтобы меня проверить. И не дай Бог мне оказаться в доме и ответить на их звонок, если по расписанию я должен быть во дворе и вовсю чистить бассейн.

Звонит телефон.

Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен отпаривать шторы в синей гостевой комнате. Что бы под этим ни подразумевалось.

Психолог хрустит кукурузными чипсами, и я машу на нее руками: мол, тише.

Звонит телефон, и я отвечаю.

Телефон орет:

– Что там насчет сегодняшнего банкета?

Я говорю: расслабьтесь. Там все очень просто. Лосось без костей. Гарнир из молодой моркови. Тушеный эндивий.

– А что это?

Я говорю, это горелые листья. Их едят маленькой вилкой, которая самая дальняя слева. Зубцами вниз. Вы уже ели тушеный эндивий. Я точно знаю, что ели. На прошлое Рождество. Тушеный эндивий вам нравится. Съешьте всего три листика, говорю я телефону. Вам понравится, честное слово.

Телефон говорит:

– Ты не мог бы почистить каминную полку, а то там какие-то пятна?

Согласно моему расписанию на неделю, чистить каминную полку я буду завтра.

– Ой, – говорит телефон. – Мы забыли.

Ага. Забыли вы. Как же.

Дрянные людишки.

Я – лакей при господах, можно сказать и так. Раньше таких, как я, называли джентльменами при джентльменах. Только это не мой случай. Я на джентльмена никак не тяну, а те, на кого я работаю, – и подавно.

– Еще что-нибудь есть на сегодня, что нам надо знать?

Сегодня День матери.

– Черт. Блядь. Киздец! – кричит телефон. – Но ты нас прикрыл? Ты хоть додумался их поздравить?

Конечно. Я послал им цветы: и его, и ее маме. Очень красивые букеты. Флорист пришел счет.

– А что ты там написал в сопроводительной карточке?

Я написал:

Моей милой маме, которую я всегда помню и очень люблю. Всегда оставайся такой же хорошей и доброй. С любовью, от сына/от дочки. Соответствующая подпись.

Потом PS: *Сухой цветок так же красив, как и свежий.*

– Звучит неплохо. На год им хватит, – говорит телефон. – Не забудь, кстати, полить цветы на веранде. Это записано в ежедневнике.

Они дают отбой. Они знают, что мне не надо напоминать о том, что я должен сделать. Просто последнее слово должно оставаться за ними.

Но мне это без разницы.

Психолог трясет кистями и дует на свои свежее покрашенные ногти, чтобы они побыстрее высохли. Между долгими выдохами она спрашивает:

– Ты вспоминаешь свою семью?

Она дует на ногти.

Она спрашивает:

– Свою мать?

Она дует на ногти.

– Ты вспоминаешь мать?

Она дует на ногти.

– Как ты думаешь, она что-то чувствовала?

Она дует на ногти.

– В смысле, когда она умерла? То есть убила себя.

Евангелие от Матфея, глава двадцать четвертая, стих тринадцатый:

«Претерпевший же до конца спасется».

Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен чистить фильтр кондиционера. Вытирать пыль в зеленой гостиной. Потом еще нужно почистить медные ручки. И выбросить старые газеты.

Наш час уже на исходе, а я так и не рассказал о Фертилити Холлис. О том, как мы встретились в мавзолее. Мы бродили там целый час, и она мне рассказывала о движениях и школах в искусстве двадцатого века. О том, как художники этих движений и школ изображали распятого Христа. В самом старом крыле мавзолея, в крыле Умиротворения, Иисус изможденный и романтичный, с большими влажными глазами и ресницами длинными, как у девушки. В крыле, построенном в 30-х, Иисус – мускулистый супергерой в традициях социального реализма. В сороковых годах, в крыле Безмятежности, Иисус – абстрактное нагромождение плоскостей и кубов. Иисус пятидесятых – это отполированная деревяшка в стиле датского модерна. Иисус шестидесятых сколочен из деревянных обломков.

В семидесятых мавзолеей не расширяли, а в крыле восьмидесятых нет вообще никакого Иисуса – там только мирской полированный мрамор зеленого цвета и неодухотворенная медь, словно в каком-нибудь универмаге.

Фертилити говорила об искусстве, и мы с ней бродили по Умиротворению, Безмятежности, Миру, Радости, Спасению, Восторгу и Очарованию.

Она сказала, что ее зовут Фертилити Холлис.

Я сказал, что меня зовут Тендер Бренсон. Более-менее похоже на настоящее имя, на нормальное человеческое имя.

Она сказала, что отныне и впредь собирается приходить к склепу брата каждую неделю. И пообещала прийти в следующую среду.

Психолог спрашивает:

– Прошло уже десять лет. А ты до сих пор не желаешь открыться и поделиться своими чувствами о погибшей семье. Вот скажи: почему?

И я говорю: я, конечно, жутко извиняюсь, но мне пора возвращаться к работе. Я говорю, что наш час закончился.

41

Пока еще не слишком поздно, пока до падения моего самолета еще далеко, нужно, наверное, объяснить, что у меня за имя. Тендер Бренсон. На самом деле это не имя. Это скорее определение моего положения в общине. Как если бы кто-то во внешнем мире назвал ребенка Лейтенант Смит или Епископ Джонс. Или Губернатор Браун. Доктор Мур. Шериф Петерсон.

Единственными именами в общине Церкви Истинной Веры были фамилии. Фамилию в семье получали по мужу. Фамилия служила для обозначения собственности. Фамилия была ярлыком.

Моя фамилия – Бренсон.

Мое положение – Тендер Бренсон. Это самое низкое положение.⁴

Однажды психолог спросила меня, не была ли фамилия чем-то вроде передаточной надписи на ценной бумаге или, может быть, клеймом проклятия, когда родители отдавали своих сыновей и дочерей на работу во внешний мир.

После массовых самоубийств представления о нашей Церкви во внешнем мире стали такими же мрачными и зловещими, как и представления моего брата Адама о людях за пределами общины.

Во внешнем мире, рассказывал брат, люди не знают стыда. Они, словно животные, неразборчивы в половых связях и совокупляются с незнакомцами прямо на улицах.

А потом люди из внешнего мира станут спрашивать у меня, не влияли ли наши фамилии на стоимость трудового контракта. Может быть, внутри общины существовала некая градация, и члены определенных семей получали более выгодные контракты по сравнению с остальными?

Эти люди обычно спрашивают у меня, не случилось ли у нас такого, чтобы отцы из общины брюхатили собственных дочерей, дабы увеличить приток наличности. Они спрашивают, не кастрировали ли у нас тех детей, которым не разрешалось жениться, имея в виду – не кастрирован ли я. Они спрашивают у меня, мастурбировали или нет юноши нашей Церкви, или, может, они развлекались с домашней скотиной или даже друг с другом, имея в виду – занимался ли этим я.

Что я делал. Как жил. Что со мной было.

Незнакомые люди не стесняются спрашивать у меня, девственник я или нет.

Я не знаю. Забыл. И вообще это не ваше дело.

Кстати для сведения: мой старший брат Адам Бренсон старше меня всего-то на три минуты и тридцать секунд, но по понятиям Церкви Истинной Веры эти три с половиной минуты – все равно что три с половиной года.

Доктрина Истинной Веры не признает никаких вторых мест.

Во всех семьях Истинно Верующих сына-первенца называли Адамом, и это он, Адам Бренсон, должен был унаследовать нашу землю на территории общины.

Всех сыновей после Адама называли Тендерами. В нашей семье, семье Бренсонов, я был просто одним из восьми, если не больше, Тендеров Бренсонов, которых мои родители отпустили во внешний мир в качестве миссионеров труда.

Всех дочерей, с первой и до последней, называли Бидди.

Тендеры – это те, кто обслуживает других.

⁴ Английское слово «tender», помимо прочего, означает «человек, который обслуживает кого-то, присматривает за кем-то»; также – «молодой, неопытный человек», например: «children of tender years» – «дети младшего возраста»; также – «платежное средство». Таким образом, имя Тендер несет в себе сразу несколько значений.

Бидди исполняют чужие распоряжения. Как говорится, Бидди исполнит все в лучшем виде.

Можно предположить, что оба слова – это какой-то жаргон, может быть, сокращения от длинных традиционных имен, но я не знаю, от каких именно.

Я знаю только, что, если церковные старейшины решали, что Бидди Бренсон должна выйти замуж за Адама из какой-то другой семьи, ее имя – на самом деле ее положение в семье – менялось на Оту.

Когда Бидди Бренсон выходит замуж за Адама Макстона, она становится Отой Макстон.

Родителей этого Адама Макстона тоже зовут Адам Макстон и Ота Макстон, пока у их сына и его молодой жены не появится первый ребенок. После рождения первого внука – или внучки – к ним следует обращаться старейшина Макстон, причем не только к нему, но и к ней тоже.

Хотя в большинстве семей старейшина-мать просто не доживает до того дня, когда у ее первого сына появляется первый ребенок, – если все время рожать и рожать без передышки, тут никакого здоровья не хватит.

Так что почти все старейшины были мужчины. Мужчина мог стать старейшиной уже в тридцать пять лет – если как следует поторопиться.

Это не так уж и сложно.

Во внешнем мире все гораздо сложнее: все эти родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, тети, дяди, племянники и племянницы – и у всех разные имена.

В Церкви Истинной Веры твое имя сразу же говорило другим о твоём положении. Тендер или Бидди. Адам или Ота. Или старейшина. Твое имя сразу же говорило тебе, как пройдет твоя жизнь.

Люди спрашивают у меня, как я отнесся к тому, что меня лишили права на собственность и права создать семью лишь потому, что мой брат появился на свет раньше на три с половиной минуты. Они говорят: ты, наверное, просто бесился от ярости? И я научился отвечать им: да. Потому что они хотят это услышать. Люди из внешнего мира. Но это неправда. Я никогда не бесился от ярости.

С тем же успехом можно беситься от ярости, что ты родился с такими короткими пальцами и поэтому не смог стать профессиональным скрипачом и играть в оркестре.

С тем же успехом можно сокрушаться, что тебе достались такие родители, а ведь могли бы достаться совсем другие: выше ростом, стройнее фигурой, сильнее, счастливее. Очень многое в этой жизни от тебя не зависит.

Все дело в том, что Адам родился раньше меня. Он был первым. И, может быть, Адам завидовал мне, что я уеду из общины и увижу внешний мир. Когда я собирался в дорогу, Адам готовился к свадьбе с Бидди Глисон, которую видел до этого лишь пару раз.

У церковных старейшин хранились сложные схемы, кто на какой бидди женился, чтобы в брак не вступили люди, которых во внешнем мире называют «двоюродными» братьями и сестрами. Как только Адамы из нового поколения приближались к семнадцатилетнему возрасту, старейшины подбирали им жен из семей, предельно далеких от их родословной. Как только Адамы из нового поколения вступали в брачный возраст, в общине начиналась пора свадеб. Всего у нас было около сорока семей, и когда новому поколению Адамов приходила пора жениться, скромные свадебные торжества проходили почти в каждом доме. Но для всех тендеров и всех бидди это был чужой праздник. Разве что в щелочку подглядеть.

Если ты была бидди, ты хотя бы могла мечтать, что когда-нибудь это случится с тобой.

Если ты был тендером, ты даже и не мечтал.

40

Сегодня мне снова звонят, как всегда. За окном – полнолуние. Люди готовы свести счеты с жизнью из-за плохих оценок в школе. Из-за неурядиц в семье. Из-за проблем с бойфрендом. Из-за дурацкой никчемной работы. Они все звонят и звонят, а я пытаюсь поджарить себе на ужин две украденные отбивные из молодого барашка.

Люди звонят из других городов, причем стараются позвонить за мой счет, и телефонистка спрашивает у меня, согласен ли я оплатить вызов от очередного анонимного страдальца, вопиющего о помощи.

Сегодня вечером я собираюсь опробовать новый способ, как есть лосося *en crouste*⁵: такой эротичный поворот запястья, эффектный и утонченный жест для людей, на которых я работаю, чтобы они смогли поразить остальных гостей на своем следующем званом ужине. Маленькая хитрость. Застольный эквивалент бальных танцев. Я прикидываю, как лучше всего подносить ко рту лук в белом соусе, чтобы это смотрелось изысканно и элегантно. Я уже довел почти до совершенства безотказный прием, как подцепить лук, чтобы не загрести слишком много соуса, и тут опять зазвонил телефон.

Звонит парень и говорит, что он завалил экзамен по алгебре.

Отвечаю ему по привычке: убей себя.

Звонит женщина и говорит, что дети ее совершенно не слушаются.

Говорю, не задумываясь: убей себя.

Звонит мужчина и говорит, что у него не заводится машина.

Убей себя.

Звонит женщина и спрашивает, когда начинается последний сеанс.

Убей себя.

Она говорит:

– Это 555-13-27? Это кинотеатр «Мурхаус»?

Я говорю: убей себя. Убей себя. Убей себя.

Звонит девушка и спрашивает:

– А умирать – это больно?

Больно, милая, говорю, очень больно. Но жить – гораздо больнее.

– Просто мне интересно, – говорит она. – На прошлой неделе мой брат покончил с собой.

Кажется, это Фертилити Холлис. Я спрашиваю, сколько лет было брату? Стараюсь по возможности изменить голос, чтобы она меня не узнала.

– Двадцать четыре. – Она не плачет или что-то такое. У нее совершенно нормальный голос, как будто она не особенно-то и расстроена.

Ее голос наводит на мысли о ее губах, наводит на мысли о ее дыхании, наводит на мысли о ее груди.

Первое послание к Коринфянам, глава шестая, стих восемнадцатый:

«Бегайте блуда... блудник грешит против собственного тела».

Я говорю ей своим измененным голосом: расскажи, что ты чувствуешь.

– Я никак не могу решиться, – говорит она. – Никак не выберу подходящий момент. Весенний семестр уже на исходе, и я ненавижу свою работу. У меня скоро кончится срок аренды квартиры. На той неделе истекает последний срок моих водительских документов. Если я вообще собираюсь покончить с собой, то сейчас, кажется, самое что ни на есть подходящее время.

⁵ в кляре (фр.).

Есть много веских причин, чтобы жить, говорю я, очень надеюсь, что она не попросит их перечислить. Я спрашиваю: а что, больше нет никого, кто разделял бы ее скорбь по брату? Может быть, кто-то из старых друзей ее брата, кто поддержал бы ее в это трудное время?

– Вообще-то нет.

Я спрашиваю: а что, больше никто не приходит на могилу ее брата?

– Нет.

Я спрашиваю: неужели вообще никто? Больше никто не кладет цветы на его могилу? Никто из его старых друзей?

– Нет.

Кажется, я произвел на нее неизгладимое впечатление.

– Нет, – говорит она, – погодите. Был там один странный парень.

Замечательно. Значит, я странный.

Я спрашиваю: что значит странный?

– Помните этих сектантов, которые все покончили самоубийством? – говорит она. – Лет семь-восемь назад. Весь городок, все до единого человека – они собрались в церкви и выпили яд, и ФБР обнаружило их уже мертвыми. Они лежали на полу, держась за руки. Так вот этот парень напомнил мне тех людей. И даже не столько из-за своей нелепой одежды, сколько из-за прически. Как будто он стриг себя сам, с закрытыми глазами.

Это было десять лет назад, и мне сейчас хочется лишь одного – бросить трубку.

Вторая книга Паралипоменон, глава двадцать первая, стих девятнадцатый:

«...выпали внутренности его...»

– Алло, – говорит она. – Вы еще там?

Да, говорю. Что еще?

– Ничего, – говорит она. – Он просто пришел к склепу брата с огромным букетом цветов.

Ну вот, говорю я. Как раз такой чуткий и преданный человек ей и нужен.

Она говорит:

– Вряд ли.

Я спрашиваю: ты замужем?

– Нет.

С кем-то встречаешься?

– Нет.

Тогда узнай этого парня получше, говорю я. Пусть ваша общая потеря вас сблизит. Может, у вас даже что-то получится. И этот роман даст ей сил пережить горе.

– Вряд ли, – говорит она. – Ты бы видел этого парня. Я в том смысле, что я всегда подозревала, что мой брат, может быть, гей, и когда я увидела этого парня с цветами, это лишь подтвердило мои подозрения. К тому же он совершенно непривлекательный.

Плач Иеремии, глава вторая, стих одиннадцатый:

«...волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя...»

Я говорю: может быть, если он сделает нормальную стрижку... Ты могла бы ему помочь. Помочь переделать себя.

– Вряд ли, – говорит она. – Этот парень – он просто урод. У него кошмарная стрижка и эти длинные бакенбарды, они доходят почти до рта. И это совсем не тот случай, когда волосы на лице – это как макияж у женщин, ну, когда мужики специально не бреются, чтобы скрыть недостатки лица... ну там, двойной подбородок или невыразительные скулы. Чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А у того парня подчеркивать нечего, то есть вообще никаких достоинств. И к тому же он гей.

Первое послание к Коринфянам, глава одиннадцатая, стих четырнадцатый:

«Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него».

Я говорю: у нее нет доказательств, что он мужеложец.

– А какие тебе нужны доказательства?

Я говорю: спроси у него самого. Вы же еще увидите?

– Ну, – говорит она, – я сказала ему, что приду в мавзолей на следующей неделе, но я не знаю. Я просто так это сказала – просто чтобы отделаться. Он был такой жалкий, такой несчастный. Целый час ходил за мной по мавзолею.

Но ей все равно надо с ним встретиться, говорю я. Она обещала. Подумай хотя бы о Треворе, о своем мертвом брате. Как бы Тревор отнесся к тому, что она обманула его единственного верного друга?

Она спрашивает:

– Откуда ты знаешь, как его зовут?

Кого?

– Моего брата Тревор. Ты назвал его по имени.

Так она же сама мне сказала, говорю я. В самом начале. Тревор. Двадцать четыре года. Покончил с собой на прошлой неделе. Гомосексуалист. Вероятно. У него был тайный любовник, которому теперь отчаянно необходимо выплакаться у нее на плече.

– Ты все запомнил? А ты умеешь слушать, – говорит она. – Поразительно просто. А внешне ты как?

Внешне я страшный, смотреть противно. Настоящий урод. Прическа кошмарная. Прошлое мерзкое. В общем, я ей не понравлюсь.

Я спрашиваю про того друга ее брата Тревор, может быть, даже любовника, теперь овдовевшего, – она собирается с ним увидеться на той неделе, как обещала?

Она говорит:

– Я не знаю. Может быть. Я с ним увижусь, если ты кое-что для меня сделаешь прямо сейчас.

Просто имей в виду, говорю я ей. Сейчас у тебя есть шанс помочь человеку, скрасить его одиночество. У тебя есть замечательный шанс подарить любовь и поддержку кому-то, кто очень нуждается в этой любви.

– На хрен любовь, – говорит она, и теперь ее голос звучит так же глухо, как мой. – Скажи что-нибудь, чтобы я завелась.

Я не понимаю, что она имеет в виду.

– Ты все понимаешь, – говорит она.

Бытие, глава третья, стих двенадцатый:

«... жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел».

Послушай, говорю я. Я здесь не один. Нас здесь много – добровольцев, готовых выслушать и помочь.

– Ну давай, – говорит она. – Оближи мне грудь.

Я говорю, что она злоупотребляет моим природным сочувствием к ближнему. Я говорю, что сейчас брошу трубку.

Она говорит:

– Целуй меня всю.

Я говорю: я уже вешаю трубку.

– Грубее, – говорит она. – Делай это грубее. Совсем-совсем грубо. – Она смеется и говорит: – Лижи меня. Лижи меня. Лижи меня. Лижи. Меня.

Я говорю, что я вешаю трубку. Но продолжаю слушать.

Фертилити говорит:

– Ты же хочешь меня. Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала. Ты же этого хочешь. Заставь меня сделать что-нибудь по-настоящему грязное.

И прежде чем бросить трубку я слышу, как Фертилити Холлис кричит с придыханием, как порнодива в момент оргазма.

Я вешаю трубку.

Первое послание к Тимофею, глава пятая, стих пятнадцатый:

«Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны».

Я себя чувствую просто дешевкой, использованной дешевкой, как будто меня изваляли в грязи и унизили. Обманули, использовали и выбросили за ненужностью.

Звонит телефон. Это она. Наверняка это она, так что я не беру трубку.

Телефон звонит весь вечер, а я сижу, чувствую себя обманутым и не смею ответить.

39

Наша первая встреча с психологом состоялась десять лет назад. Моя психолог – это реальная личность, у нее есть имя и свой офис, но я не буду вдаваться в подробности. Не хочу доставлять человеку лишние хлопоты. Ей хватает своих проблем. У нее есть диплом по специальности «социальный работник». Ей тридцать пять, и у нее нет постоянного мужика, одни преходящие. Десять лет назад ей было двадцать пять, она только-только окончила колледж, и ее сразу же нагрузили работой в рамках Федеральной программы поддержки уцелевших, определили ей сразу несколько подопечных.

Вот как все это было: в дом, где я тогда работал, пришел полицейский. Тогда, десять лет назад, мне было двадцать три года, и я по-прежнему работал на том же самом месте, что и вначале, потому что мной были довольны. Тогда я и вправду трудился на совесть. По-другому просто не умел. Лужайки вокруг того дома всегда были зеленые и идеально постриженные – такие мягкие и пушистые, как шуба из меха зеленой норки. И дом я содержал в безупречном порядке. Когда тебе двадцать три, ты искренне веришь, что можно вечно поддерживать высший уровень исполнения.

За спиной у того первого полицейского, у полицейской машины на подъездной дорожке, стояли еще двое в форме и мой будущий психолог.

Вы и представить себе не можете, как я был доволен своей работой – тогда, десять лет назад. Как я старался делать все хорошо. Всю жизнь в общине меня готовили к этой работе, к моей миссии в нечистом и грешном мире – убираться в чужих домах.

Когда люди, на которых я работал, переслали в общину мою зарплату за первый месяц, я буквально светился от счастья. Я искренне верил, что своими трудами помогаю создать Рай на земле.

Я не думал о том, как на меня смотрят люди: я одевался, как это было положено в нашей Церкви. Широкополая шляпа, мешковатые штаны без карманов. Белая рубаша с длинным рукавом. Даже в самую лютую жару, выходя на люди, я обязательно надевал коричневый пиджак и не обращал внимания на все те глупости, которые мне говорили.

– А вам разве можно носить рубашки с пуговицами? – спрашивали меня.

Это амишам нельзя.

– Вам надо носить какое-то особенное потайное исподнее?

Это, по-моему, про мормонов.

– А разве ваша религия не запрещает жить за пределами общины?

Это про меннонитов.

– Никогда раньше не видел живого хаттерита.

И теперь тоже не видишь.

Это было приятное ощущение – что ты выделяешься из всех, такой добродетельный и таинственный. И все на тебя смотрят. Ты – как свет, сияющий в ночи. Торчишь у них перед глазами, словно нарыв на пальце. Ты – тот самый единственный праведник, из-за которого Бог пощадит Содом и Гоморру в торговом центре на Валлей-Пласа.

Ты – всеобщий спаситель, пусть даже об этом никто не знает. В душный и знойный день ты в своем шерстяном пиджаке был как мученик, горящий на костре.

Но еще даже приятнее было встретить кого-то, кто одет так же, как ты. В коричневые штаны или коричневое платье и коричневые бесформенные ботинки, которые носили мы все – и мужчины, и женщины. Когда ты встречал человека, одетого так же, как ты, вам можно было поговорить. Во внешнем мире нам разрешалось сказать друг другу лишь несколько фраз. Поэтому никто не спешил – начинал медленно и обстоятельно и не торопился закон-

чить фразу. Выходить на люди допускалось в единственном случае: в магазин за покупками – при условии, что тебе доверяли деньги.

Если ты встречал кого-то из своей церкви во внешнем мире, ты мог сказать:

Да будет вся твоя жизнь беззаветным служением.

Ты мог сказать:

Благословен Господь, надзирающий за трудами нашими.

Ты мог сказать:

Пусть все спасутся трудами нашими и усилиями.

И ты мог сказать:

Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца.

Вот все, что нам разрешалось сказать друг другу.

Ты встречал человека такого же праведного и вспотевшего в наряде, предписанном церковью, и еще до того, как начать разговор, ты прокручивал в голове эти четыре фразы. Вы бросались навстречу друг другу, но прикоснуться друг к другу вам было нельзя. Никаких объятий. Никаких рукопожатий. Ты произносишь какую-то фразу из четырех разрешенных. Человек произносит другую фразу. Вы будете долго ходить бок о бок туда-сюда, пока каждый из вас не скажет еще по фразе. Вы оба не поднимаете головы, оба смотрите только под ноги. А потом каждый из вас возвращается к своей работе.

И это – лишь малая часть малой части всех правил, которые ты должен держать в голове. Половина того, чему нас учили в общине, – это правила, установления и положения церковной доктрины. Вторая половина – курс домоводства. Домоводство включало в себя: садоводство, этикет, уход за изделиями из ткани, все виды уборки, плотничье дело, шитье и вязание, уход за домашними животными, арифметика, выведение пятен и терпимость.

Среди правил для жизни во внешнем мире было, в частности, и такое: раз в неделю писать письмо с исповедью церковным старейшинам. Воздерживаться от конфет. Не пить, не курить. Всегда одеваться опрятно и чисто. Не смотреть телевизор, не слушать радио, не ходить в кино. Не вступать в половые связи.

От Луки, глава двадцатая, стих тридцать пятый:

«А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят».

Согласно старейшинам Церкви Истинной Веры, воздержание – это ничуть не сложнее сознательного отказа играть в бейсбол.

Просто скажи: нет.

Было еще много правил, всех и не перечислишь. Не дай Бог, ты пойдешь танцевать. Не дай Бог, ты съешь сахар-рафинад. Или вдруг запоешь. Но самое главное правило было такое:

Если братья и сестры из нашей общины почувствуют в сердце своем, что Господь призывает их, то возрадуйся всей душой, ибо близится Поход в Небеса. Когда гибель мира станет уже неизбежной, восславь Господа нашего и обрети избавление от жизни брэнной, предавшись в руки Создателя, аминь.

И если такое случится, ты должен последовать за остальными.

Не важно, что ты далеко от общины. Не важно, что ты много лет проработал во внешнем мире. Поскольку братьям и сестрам Церкви Истинной Веры запрещено слушать радио и смотреть телевизор, может пройти не один год, пока все члены общины узнают про Поход в Небеса. Это так называлось, согласно церковной доктрине. Поход в Небеса. Бегство в Египет. Исход из Египта. В Библии все постоянно куда-то идут. С места на место.

Может пройти много лет, пока ты узнаешь, но когда ты узнаешь, ты должен немедленно застрелиться или выпить отраву, утопиться, повеситься, вскрыть себе вены, броситься с моста или крыши.

Уйти следом за всеми. На Небеса.

Вот почему те четверо, трое полицейских и психолог, приехали, чтобы меня забрать. Полицейский сказал:

– У нас для вас неприятные новости. – И я сразу понял, что меня бросили одного.

Это была гибель мира, апокалипсис, Поход в Небеса, и, несмотря на все, что я сделал, несмотря на все деньги, которые я заработал для Церкви, Рай на земле не настанет.

Прежде чем я успел заговорить, психолог шагнула вперед и сказала:

– Мы знаем, что вы сейчас должны сделать. Знаем, на что вас запрограммировали. И мы будем пристально наблюдать за вами, чтобы этого не произошло.

На то время, когда в общине объявили Поход в Небеса, во внешнем мире работали около полутора тысяч братьев и сестер Церкви Истинной Веры. Через неделю их осталось шестьсот. Через год – четыреста.

С тех пор даже двое психологов покончили самоубийством.

Меня, как и большинство остальных уцелевших, нашли по тем исповедальным письмам, которые мы ежемесячно отсылали церковным старейшинам. Мы даже не знали, что пишем письма и перечисляем зарплату на счета людей, которых уже нет на свете, которые отбыли на Небеса. Мы не знали, что каждый месяц психологи из социальной службы читают наши признания, сколько раз мы чертыхнулись и сколько раз нас посещали нечистые мысли. Так что психолог знала обо мне все. Ничего нового о себе я бы ей не открыл.

Прошло десять лет, но уцелевшие между собой не общаются. Потому что при встрече мы не испытываем ничего, кроме смущения и досады. Потому что мы клятвопреступники, мы не исполнили наш самый главный обет. Нам больно и стыдно – за себя. Нам досадно и горько – друг за друга. Те из уцелевших, кто до сих пор носит одежду по установлению церкви, носят ее для того, чтобы выставить напоказ свою боль. Одеться в рубище, посыпать голову пеплом. Они не сумели спастись. Они проявили преступную слабость. Церкви нет, стало быть, нет и правил, но это уже не важно. Нам всем обеспечен экспресс прямиком до Ада.

Я тоже был слаб.

Я дал увезти себя в город на заднем сиденье полицейской машины. Психолог сидела рядом. Она сказала:

– Вы были невинной жертвой жестокого, изуверского культа, в вас подавили всю волю, но мы вам поможем вновь обрести себя.

С каждой минутой я был все дальше и дальше от того, что я должен был сделать.

Психолог сказала:

– Насколько я понимаю, у вас проблемы с мастурбацией. Не хотите об этом поговорить?

С каждой минутой мне становилось все трудней и трудней сделать то, что я поклялся сделать при крещении. Застрелиться, зарезаться, удавиться, истечь кровью, прыгнуть с моста или крыши.

Мир за окном полицейской машины несся мимо – так быстро, что у меня потемнело в глазах.

Психолог сказала:

– До сих пор ваша жизнь была сущим кошмаром, но теперь все будет в порядке. Вы меня слышите? Подождите немного, и все с вами будет в порядке.

Это было почти десять лет назад, и я жду до сих пор.

Она в этом не виновата, конечно. Но никто ее за язык не тянул.

Прошло десять лет, и почти ничего не изменилось. Десять лет терапии – а я каким был, таким, в сущности, и остался. Не продвинулся ни на шаг. Так что повода для празднования я не вижу.

Мы по-прежнему вместе. Сегодня – наш еженедельный сеанс номер пятьсот какой-то, и сегодня мы с ней общаемся в синей гостевой ванной. Помимо синей, есть еще зеленая, белая, желтая и лиловая гостевые ванны. Вот сколько денег у этих людей. Психолог сидит на краю ванны, налитой на пару дюймов теплой водой. Она сидит на краю ванны, опустив в воду босые ноги. Ее туфли стоят на крышке унитаза. Там же стоит и ее бокал для мартини с коктейлем из белого рома с гранатовым сиропом, с колотым льдом и мелким сахаром. После каждой пары вопросов она берет бокал за ножку и подносит к губам, в той же руке она держит ручку, так что ручка и ножка бокала перекрещиваются на манер палочек для еды.

Она говорит, что рассталась с очередным бойфрендом.

Сейчас она еще, не дай Бог, скажет, что ей тоже нужна терапия, и предложит помочь мне с уборкой.

Она отпивает еще глоток. Ставит бокал на место. Я что-то ей отвечаю, и она что-то пишет в своем желтом блокноте, который держит на коленях, потом задает мне очередной вопрос, берет бокал, отпивает глоток. Под толстым слоем косметики ее лицо кажется неживым, словно оштукатуренным.

Ларри, Барри, Джерри, Терри, Гари – я уже путаюсь в ее бывших бойфрендах. Она говорит, что теряет бойфрендов примерно с такой же скоростью, с какой теряет своих подопечных.

Она говорит, что на этой неделе цифры опять изменились. Уцелевших осталось сто тридцать два человека по стране в целом, но коэффициент самоубийств снова выравнивается.

Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас чищу синюю плитку на полу – такие маленькие шестигранные плиточки. Мне нужно вычистить все зазоры. Более триллиона миль тонких полосок цементного раствора. Если вытянуть их в одну линию, получится десять расстояний до Луны и обратно, и всё – в черной плесени. Я окунаю зубную щетку в нашатырный спирт и соскребаю налет. Запах аммиака, смешанный с запахом дыма от сигареты психолога, вызывает во мне неприятную слабость и учащенное сердцебиение.

В голове все плывет. Аммиак. Сигаретный дым. Фертилити Холлис продолжает называть мне домой. Я не решаюсь взять трубку, но я доподлинно знаю, что это она.

– В последнее время тебя не донимали какие-нибудь незнакомые люди? – спрашивает психолог.

Она спрашивает:

– Тебе никто не звонил с угрозами?

Когда она разговаривает вот так, с сигаретой во рту, она похожа на пса, который рычит на тебя, попивая розовый мартини. Затяжка, глоток, вопрос; дышать, пить, говорить – она демонстрирует все основные способы применения человеческого рта.

Раньше она не курила, но в последнее время все чаще и чаще она говорит мне, что ей страшно стареть.

– Может быть, если бы у меня в жизни сложилось хоть что-то... – говорит она, доставая из пачки новую сигарету. А потом что-то вдруг начинает пищать – бип, бип, бип, – и она нажимает на кнопку у себя на часах, и писк прекращается. Она тянется за своей большой сумкой, что стоит на полу возле унитаза, и достает пластмассовый бутылек. – Имипрамин, – говорит она. – Извини, но тебе я его предложить не могу.

В самом начале работы программы поддержки всем уцелевшим выдавали успокоительные препараты: ксанакс, прозак, валиум, имипрамин. План провалился, потому что многие подопечные копили свои еженедельные дозы в течение трех, шести или восьми недель, в зависимости от веса, а потом просто глотали все разом, запивая неразбавленным виски.

С подопечными в плане лекарств ничего не вышло, зато хоть психологам стало хорошо.

– Ты не замечал, за тобой не следили? – спрашивает она. – Кто-нибудь с пистолетом или с ножом, поздно вечером, когда ты идешь от автобусной остановки?

Я скребу зубной щеткой зазоры между плитками на полу, от черного – до коричневого, от коричневого – до белого, и говорю: а почему ты об этом спрашиваешь?

Она говорит:

– Просто так.

Нет, говорю, мне никто не угрожал.

– Я пыталась тебе позвонить на неделе, но ты не брал трубку, – говорит она. – Что происходит?

Я говорю: ничего.

На самом деле я не отвечаю на звонки, потому что не хочу разговаривать с Фертилити Холлис, пока не встречу с ней лично. В тот раз, по телефону, она казалась такой возбужденной, прямо бешеной в плане секса, так что я не могу рисковать. Тут я соперничаю сам с собой. Я не хочу, чтобы она влюбилась в меня в виде голоса в телефоне и в то же время отвергла меня как реального человека. Лучше всего, если мы с ней вообще больше не будем общаться по телефону. Живой я – странный, придурочный, жуткий, уродливый – уж никак не смогу соответствовать ее фантазиям, поэтому у меня есть план, кошмарный план, как заставить ее меня возненавидеть и в то же время влюбиться в меня без памяти. Соблазнить ее, не соблазняя. Привлечь к себе, не привлекая.

– Когда тебя не бывает дома, – спрашивает психолог, – у кого-то еще есть доступ к продуктам, которые ты ешь?

Завтра мы встречаемся с Фертилити Холлис в мавзолее, если, конечно, она придет. И я приступлю к выполнению первой части моего плана.

Психолог спрашивает:

– Тебе не приходили какие-то письма с угрозами или просто странные письма от неизвестных людей?

Она спрашивает:

– Ты вообще меня слушаешь?

Я спрашиваю: к чему все эти вопросы? Я говорю: если ты мне сейчас не ответишь, что происходит, я выпью эту бутылку нашатырного спирта у тебя на глазах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.